

роман

**Владислав
Дорофеев**



или смерть в Висбадене

**Томление
(Sehnsucht)**

Владислав Дорофеев

**Томление (Sehnsucht)
или смерть в Висбадене**

«Автор»

Дорофеев В. Ю.

Томление (Sehnsucht) или смерть в Висбадене /
В. Ю. Дорофеев — «Автор»,

Действие романа происходит в двадцатых годах 21-го столетия. Немецкий курортный город Висбаден превратился в европейскую столицу смерти, куда приезжают доживать свои последние дни богатые люди и где за год до смерти поселилась мать главной героини, которая в письмах к своей дочери раскрывает тайну семьи. Этот город прежде был известен как игорный центр, где спускал деньги Федор Михайлович Достоевский, а совсем недалеко от этих мест – родина последней русской императрицы Александры Федоровны Романовой, урожденной принцессы Гессенской. Действие романа охватывает несколько десятилетий и происходит в России, Украине, Европе и США.

© Дорофеев В. Ю.

© Автор

Содержание

Часть I. Кто ты	6
Часть II. Нина	13
Конец ознакомительного фрагмента.	37

Владислав Дорофеев Томление (Sehnsucht), или Смерть в Висбадене

«Если бы человек лишен был рук, то у него, без сомнения, по подобию четвероногих, соответственно потребности питаться устроены были бы части лица, и оно было бы продолговато, утончалось бы к ноздрям, у рта выдавались бы вперед губы мозолистые, твердые и толстые, способные щипать траву. Между зубами вложен был бы язык, отличный от теперешиного, мясистый, упругий и жесткий, помогающий зубам, или влажный и по краям мягкий, как у собак и прочих сыроедных животных, вращающийся в промежутках острого ряда зубов, посему, если бы у тела не было рук, то как образовался бы у него членораздельный звук, когда устройство рта не было бы приспособлено к потребности произношения? Без сомнения, необходимо было бы человеку или блять, или мычать, или лаять или ржать, или реветь подобно волам и ослам, или издавать какое-либо зверское рыкание. А теперь, когда телу дана рука, уста свободны для служения слову. Следовательно, руки оказываются принадлежностью словесного естества: Творец и их примыслил для удобства слову».

Святитель Григорий Нисский, «Человек есть образ Божий», гл.8

Часть I. Кто ты

«Кто ты?» – Спросила она меня. Или промолчала она обо мне. Неважно. Она сидела напротив меня. И это одно составляло наибольшую радость в этот немислимый и прятный пятничныи московский вечер, на Тверской улице, в самом центре, в утробе этой великой улицы, пропитанной красотой и соблазном искренней и чистой любви, – улице, к фонарям которой я возвращаюсь вновь и вновь, несмотря на войну и мракобесие, никогда не покидающие город и его окрестности.

Мне так дороги эти встречи. И эта небольшая круглая, аккуратно причесанная, рыжая головка ее, с лукавой усмешкой на внешне ветреном лице, за центральным столиком напротив входа/выхода в тот мир (так и ждет, как бы ускользнуть), с ожидаемой и лукавой усмешкой.

Я совершенно влюблен в нее, во все, что с ней связано. Конечно, влюблен. А в противном случае, как я могу прописать ей роман, который вылечит ей душу и укажет на причины ее тоски и страхов.

Вот самое мерзкое, что есть в литературной работе, вот грань, по которой можно соскользнуть в бездну, забыв о страхе, обманувшись. А ведь авторский замысел – будто мерзкий червь вползает в душу, там устраивает гнездо и понемногу, обгладывая душу, расширяет гнездо, понемногу замещая жизнь выдумками, веру – удовольствием, ум – страстью. Ненавижу. Я порой ненавижу свой дар. Но эта ненависть секундна, на смену приходит жалость к себе; но и жалость не менее глупа и абсурдна, ибо дар мой – не мой, а на службе Богу, в противном случае, не дар это, а погибель души моей и душ многих. Вот где источник опасности в литературной работе.

Я начинаю плести кружева нашего романа. Это будут великолепные, невероятной красоты и изысканности кружева.

Я молчал. Я не знал. Я не знал, что ей ответить. Точнее, я знал, что этот ее вопрос справедливее было бы обратиться к ней самой.

Она смотрела на меня, изогнувшись в форме раненой птицы, и голова ее, похожая на яблоко, висящее на осенней ветке, качалась, будто маятник наоборот, на тонкой и нежной шее, по форме напоминающую горлышко амфоры, не обнаруженной на дне морском, и не затонувшей вместе с кораблем с драгоценным грузом византийской мирры.

Ну что мне оставалось делать? Конечно, я встал, поднял амфору за обе ручки, с трудом оторвал от пола и опрокинул на себя; запах мирры распространился кругом, сначала на залу, – в которой мы встретились, – залитую нежным и ласковым светом русского московского заката, а потому трепетную (ну, нет, это излишество – трепет происходит из ее глаз, окантованных волнующейся весенней травой ресниц), затем сквозь огромные и раскрытые окна (и ее огромные распахнутые в мир глаза) и огромную дверь на Тверскую, затем к Кремлю, и дальше, сквозь Тверскую заставу, и по Садовому кольцу, нарезая круги, по стране, не останавливаясь ни на человеческих, ни на временных границах, мирра нахлынула на мир; а всего лишь распахнулось сердце, а всего лишь растворился страх, и душа вернулась на место и в состояние, привычное человеку, нет-нет, слабо! – приличествующее человеку! – и не мирра то, а бескрайняя и безграничная любовь к миру, Богу, себе, человеку – всякому, нынешнему и будущему. Мирра любви нахлынула на мир, и ничто уже не могло нас остановить, ничто.

Так началась эра экспансии русской любви, сумасшедшей, соизмеримой разве что с божественной вселенной, – русской любви. Невыразимой русской любви, замешанной на еврейских дрожжах немислимой и безграничной памяти. Любовь, замешанная на памяти, умягчает душу, размягчая самую грубую шкуру, готовя самую твердую душу к восприятию завета любви и закона памяти. Такой любви ничто не в состоянии противостоять. Ничто, нигде, никогда. Так.

«Зачем ты меня нашел?»

Я замолчал от неожиданности, или напротив, удовлетворения, уткнувшись в кулак, брошенный небрежным жестом на плоскую грань стола, сквозь которую выпячивал горб времени: когда-то на этом месте стоял другой стол, за которым сидели другой кавалер и с другой барышней, они смотрелись друг в друга, а со стены, позади нее и впереди него, тупое зеркало отражало происходящие события. Отражений было много. В них можно было бы запутаться. А поскольку в них никто не разбирался, некому было и путаться. И я не среди них. И потому я ее не искал. Потому я ее и не находил. Разве можно найти то, что не искал? Нет! Вот я и молчал. А что я мог сказать. Мне оставалось лишь молчать.

«Зачем ты меня нашел? Почему ты решил, что я нуждаюсь в твоей помощи? Ты – добрая фея? Я все равно не хочу жить! Понимаешь, не хочу. Не могу. Я не знаю, как мне жить дальше».

Я знал ответ, но молчал, я ждал.

«Молчишь! Тогда смотри!»

Я смотрел в зеркало перед собой. Передо мной было лишь отражение. И мне было все равно, что происходило с моим или ее отражениями.

«Помоги мне. Слышишь, помоги!»

Изображение уже не просто беззвучно кричало, широко раскрыв рот, изображение билось о поверхность существования, пытаюсь выскочить и докричаться до меня.

«Ведь ты же писатель! Помоги. Напиши, как мне быть, объясни мне меня. Чтобы я поняла, что мне делать дальше, как жить!»

От крика уже плавилось зеркало. И пространство между нами дымилось, стремительно сокращаясь до дистанции понимания. Я приблизился к изображению (или оно ко мне), превращаясь в цитату.

Стоп!

Попробуем разобраться. Что такое писатель, точнее, что такое литература? и могу ли я ей помочь, должен ли?

Бог – это стиль – вот основное утверждение двадцатого века. Стиль был феноменом двадцатого столетия.

Литература – это стиль – вот величайшее достижение литературы двадцатого века.

С этим можно согласиться, но при условии, что Стиль – с большой буквы.

И тогда формула литературы двадцать первого века отличается от литературной формулы двадцатого века прежде всего содержательно. Ибо Бог – это Стиль.

Литература – это Стиль: вот формула литературы двадцать первого века.

В начале двадцать первого столетия, – провозглашая, что Литература – есть Стиль, – мы возвращаем литературу в родительское лоно, в лоно Церкви, у которой нет никаких иных целей, кроме спасения человека, кроме победы добра над злом.

Критерии такой литературы просты: все, что спасает душу человеческую, все, что способствует победе человека над бездной и сатаной, все это – хорошо и нужно.

Поэтому формула литературы двадцать первого века идентична религиозной – спасение человека.

То есть литература в двадцать первом веке превращается в практический инструмент, с какой, собственно целью и появилась когда-то на свет божий.

Тогда вполне справедливы следующие утверждения.

Стиль – это ярость повествования. Стиль – это обнаженная душа языка. Новая литература – это как человек с содранной кожей: куда ни тронь – всюду больно. Смысл – в реакции, а не в заданности. Смысл возникает между читателем и литератором, а не задается литератором в качестве новогоднего подарка.

Тогда литература – это не насилие, а настройка.

Литература расширяет возможности языка. В этом единственное предназначение литературы: напоминать человеку через Слово о присутствии в жизни человека Бога. И это всегда ново.

Новые возможности языка – это всегда новые возможности ума, новый взгляд, новые оттенки настроения, новые цели и задачи.

Литература – это путешествие по своей памяти, пропитанной образами, запахами, цветом, но не смыслом. Память – это преддверие языка и его смысл.

Литература – это форма познания мира. Это – наука о человеческом обществе и человеке в нем.

Новая литература – это литература предметного смысла. Пишем словами, не мыслями. Даже может быть, не словами, а буквами, но никогда фразами, или сочетаниями фраз. И не мыслями, а образами и ощущениями.

Новая литература – это и новая образная система, новые сочетания и конструкции слов, образов, идей.

Как пройти по грани между вымышленным и реальностью? Может быть в этом и состоит новая литературная задача – поиск упругой путеводной нити, блистательной путеводной звезды. Это когда вифлеемская бешеная небесная радость, судорога красоты, охватывает читателя и погружает его в новый мир духовной, – не щенячьей, не тупой восторженности, – и высокой гармонии, которой нет конца.

Полет духа, невероятная, надчеловеческая сила души – вот новая литература.

Сюжет – это для щенят. Сюжет – это некая условность, которая необходима лишь для узнаваемости. Сюжет – это канал передачи данных. Сюжет необходим – как техническое условие контакта между словом, языком, литературой и человеком.

Да, литература – это прежде всего слово, а не содержание, не сюжет. Точнее, было бы заявить так, в литературе, слово на первом месте, слово – главный инструмент, все остальные инструменты, способные воздействовать на мозги читателя, они подспорье, они выявляются и, собственно, появляются на свет, благодаря слову.

В настоящей литературе не нужно искать смысла написанного, в настоящей – языковой – литературе смысл в первом же слове.

Если ты сдираешь с читателя кожу, если ты превращаешь читателя в одно сплошное чувство – не нужен отдельный канал, ибо канал – это уже сам читатель, со всем богатством всего своего существа.

И тогда современная литература – это лишь огнедышащая лава слова. Ничто не может сравниться с языком, даже мысль отступает перед словом на следующий план. А сюжет или идея – это лишь мысль. Все решает слово. Слову нужен сюжет или идея – будет и должен быть сюжет, конечно, будет и должна быть идея. Все во имя и благодаря слову – вот это и есть новая литература.

Наличие идеи в новой литературе – непереносимое условие. Должна быть ясная точка отсчета. Новый интенсивный мир, мир информационного общежития требует интенсивной литературы, которая позволит человеку разделить ложное и истинное – и таким образом выполнить традиционную, изначальную задачу литературы.

Идея – это не сюжет.

Тем более, что в жизни сюжетов не бывает. Потому сюжетная литература искусственна, надменна, выпрэнна и предметна. В жизни бывают истории и коллизии, основа которых – идея. Жизнь не предметна, а идейна. Поскольку рождение и смерть – не предметны, а скорее претенциозны. Главная составляющая жизненных историй – стремление к Богу. И это единственный сюжет. Но этот сюжет уже занят. Навсегда. Этот роман уже написан. Он называется – Церковь. Церковь – роман человека с богом.

Нужна современная литературная проза. Написанная булькающим, интенсивным, живым языком, мерцающим от переплетения внутренних смыслов. Потому что в литературе есть лишь один критерий – свежесть слова.

Надо выйти на новый старый язык. Литературный язык должен быть сильным, энергетическим. Текст должен вытаскивать человека из пучины будней, и поднимать над собой, над обыденностью возвышать.

Новая литература – это прежде всего новая форма, новая образность, новая свобода слова. Причем степень новизны, глубина и форма этой новизны не имеют значение. Литератор определяется принципиальным наличием новизны. Достаточно легкого её запаха.

Новая литература, как и в стародавние времена, во времена, когда литература не называлась литературой, а была лишь молитвой, или беседой с Богом или человеком о Боге, вновь служит выполнению божественной задачи по созиданию нового старого человеческого общезнания, новых старых в нем отношений, новой старой божественной нравственности, новой старой культуры и нового старого божественного языка.

Новая литература призвана решить божественную задачу по созданию нового человека. Который, по сравнению с предыдущим человеком, знает и опасается большего. То есть более ответствен.

Чем глубже в человечество, чем ближе к Богу, тем новые формы деликатнее, а заметить и обозначить их неопытному труднее. И читатель становится духовнее. Новые владения простираются на уровне прежде недоступном для человека, из-за его грубости и излишней материальной силы, недостаточной духовности.

Настанет момент, когда форма сомкнется с содержанием. Форма и содержание – станут единым целым.

Новое содержание требует расширения прежних, существующих до него границ языка. А владения языка многомерны, простираются на разных уровнях восприятия. Новое содержание умещается в новых границах, в новых владениях. Новое содержание расширяет значение и масштабы формы. Новое содержание расширяет владения и возможности прежней формы.

Так получается, что истинно новое содержание облекается в такие новые формы, которые не мешают прежним формам. И тогда читатель практически ничего не замечает, никаких изменений не видит.

Новая форма – это изощренный подарок судьбы, более изощренный нежели новое содержание, которое доступнее и развязнее, проще.

Литератор – дает новую форму и новое содержание (сюжет, идею, коллизию). И тогда это – всегда новое имя в мировой литературе. Такой литератор под новое содержание создает новую форму.

Впрочем, правильное следующее утверждение. Великая литература эксплуатирует существующую форму.

Поскольку форма не имеет значения. Поскольку форма воплощения Бога не имеет значения. Но только если эта форма божественная. Божественность определяется не материалом, а предстоящей историей.

Да! Но все сказанное и утвержденное справедливо лишь при условии, обозначенном в начале, что Стиль – это Бог, что оправдывает и развивает утверждение, что Бог – это Стиль, который в таком случае – есть неотъемлемая часть слова, Слова, которое есть – Бог.

Потому что слово произнесенное или написанное – все равно Слово!

Литератор девятнадцатого столетия наблюдает за жизнью и воображаемыми событиями со стороны. Автор не является объектом интереса и исследования. Литератор остается демиургом.

Литератор двадцатого столетия превращает себя в героя, помещает себя внутрь жизненной или придуманной ситуации, и изучает себя самого в предполагаемых обстоятельствах. Но

автор исследует автора пока еще со стороны. И литература двадцатого столетия осталась литературой процесса.

Литератор двадцать первого столетия изучает исключительно самого себя, став главным героем, изучая самого себя исключительно изнутри, регистрируя и реагируя на окружающий мир через собственные реакции, чувства и ощущения. Литературный процесс нового века требует от современного литератора изучения собственного «я» в предлагаемых обстоятельствах – предлагаемые жизнью или воображением, которое также часть жизни. Задача нового литератора состоит в том, чтобы подробно, и желательнее глубоко, внятно и динамично описать свое состояние, свои реакции, свои чувства и мысли, показать себя в действии, т. е. дать пример для употребления и подражания. Потому что литература двадцать первого столетия – это литература результата.

Спасение и практицизм становятся феноменом литературы двадцать первого века.

Задача, смысл, лозунг, назначение и формула литературы двадцать первого века: литература – это спасение.

Теперь остается сделать один шаг, чтобы вернуться в изначальное благословенное состояние, в котором автор лишь проводник и иллюстратор воли божьей, часть божественного сознания. Состояние, с которого начиналось искусство, состояние, в котором пребывают рукоположенные и святые служки Бога.

Спроси любого человека, каждый скажет, что он обращается к книге, чтобы утешить/утишить какую-то тоску, маету, боль, разрешить сомнение или развеять страх.

Всякий таким ответом подтвердит практическую, прикладную функцию литературы. Так и есть, природное, естественное назначение литературы – лечение человека от душевных травм и ран.

Двадцатый век про это естественное предназначение литературы стыдливо и не очень мудро забыл, запмятовал, оставил в стороне.

Но литература возможна и желанна, и оправданна лишь в одном случае, когда литература предназначена конкретному человеку, у которого есть конкретная боль.

«Алиса в стране чудес», как и «Винни Пух», написаны ради больных детей, которые после и от таких книжек выздоровели. И с тех пор миллионы детей выздоравливают и не болеют душой и крепятся телом от этих двух книжек.

Но разве будет кто-нибудь спорить, что книжки про «Винни Пуха» или «Алису в стране чудес» – это не литература. Так эти книжки, эти произведения, эти сказки стали настоящей литературой – ибо они изначально имели прикладной, строго практический, даже утилитарный смысл – вылечить детей, дать маленьким человечкам надежды и вдохновение, разбудить их воображение, открыть завтрашний день, вдохнуть новые силы, чтобы справиться с болезнями.

Всякая удачная книга – это прежде всего, и, возможно, единственно, – рецепт, помощь, лекарство для конкретного человека. И ничего иного.

И даже если ты спасешь написанной книгой всего только одного человека – это уже много.

Нелепа формула: медицина – для медицины. А ведь она означала бы буквально, что врачи лечили бы только врачей. Тогда надо было бы, чтобы все стали врачами. Но ведь этого не происходит, потому прежде всего, что медицина носит прикладной характер. И это правильно.

Увы! никого не удивляет литератор, пишущий для таких, как он; и никого не смущает – вот уже на протяжении примерно двух последних столетий – формула: «искусство – для искусства». А ведь такая формула не менее нелепа, и значительно более трагична по последствиям, нежели формула «медицина – для медицины».

Литература двадцать первого века носит прикладной характер, как это и было задумано изначально по отношению к литературе.

Литература двадцать первого века – это литература помощи, литература спасения, это вновь – изначальная литература, задуманная человеком для лечения духа и души, и исполненная в качестве неотъемлемой части церковной службы. Потому как литература изначально – не самостоятельна.

Основная задача литератора – создание нравственной литературы. Задача эта нова сейчас в том смысле, что противостоит устоявшейся за последние десятилетия литературной идеологии, идеологии искусства – что бумага все стерпит. Потому что слово произнесенное или написанное – все равно Слово.

Форма не имеет значения. Поскольку форма и материал воплощения Бога не имеют значения. Но только если эта форма божественная, а божественность определяется не материалом, а предстоящей историей.

Собственно, такая литература уже есть и всегда была – это молитва. С молитвы и началась когда-то литература, в молитву и возвращается.

Разобрались?!

Должен!

Могу помочь!

Обычная пятничная встреча. Обычная. Так, дрянь, а не встреча. Миллион пятниц позади. Впереди столько же? Нет. Впереди будут теперь встречи с ней. Или никаких не будет встреч. Или ничего.

И теперь почти физическая тяжесть обрушивается на меня в преддверие каждой будущей встречи. Каждой. Меня зажимают челюсти времени и пространства с двух сторон – вот так. Выдавливаю из тюбика души миро любви моей, и я выскальзываю из тисков слабости своей, низости своей, глупости своей, мерзости своей, жадности своей, лживости своей, всего, что принадлежит только мне. И ухожу в беспредельные просторы любви и великих, несоизмеримых ни с чем, сомнений и веры.

Я никогда ее не забуду. Я никогда не забуду тот вечер, когда я с ней познакомился.

Поздно вечером в пятницу, после конторы я зашел в кафе на Тверской. Взял свой чай, уселся в углу. И увидел за соседним столиком плачущую барышню. Слезы были редкими, но не переставали. Я подсел. Извинился. Представился. Она будто ждала вопроса и собеседника.

«Нина», – сквозь слезы, – «теперь уже Нина».

И поймав мой удивленный взгляд (как это возможно через слезы?).

«После смерти мамы я решила стать Ниной, я взяла и получила ее имя. Такова семейная традиция по материнской линии – именем умершей матери называть старшую дочь, или старшую внучку. До внучки далеко, я единственная дочь, я вообще единственная оставшаяся еще в живых от двух родов. Юридически, в документах, у меня прежнее имя. А для людей я – Нина».

Так мы встретились. И ее уже нельзя было остановить. Она говорила и говорила, плакала и говорила. Она казалась мне очень похожей на стройную лилию/линию и на ветер, окаймляющий лилию, на свет небесный, ищущий склоненную голову лилии, и на розовую пену заката, брызжущую на твердый стебель лилии из пасти загнанного к вечеру дня, и на все мои мечты, что я воплотил в своем взгляде на нее. Мой бульдожий взгляд вцепился в ее лицо, губы, рвал ее рыжие волосы и горделивую осанку, летящие над землей руки и цепкие привольные ноги и сказочные бедра; и ничто, и никто уже не мог бы разжать пасть моего взгляда, который остался висеть на ней, который останется висеть на ней, когда мы расстанемся в метре от могилы, или после нее, или над ней, порхая мотыльками душ.

«Понимаешь», – приговорила она, объясняя мне причины своего плача, именно так, объясняя, а не спрашивая, говоря, будто себе самой.

Понимаю.

Но она, не обращая внимания на мое понимание ее понимания, оплакивала отсутствие своего понимания, именуемое в простонародье – одиночество; что не совсем точно, но зато

выспренно, как и все импульсивное. Она оплакивала не физическое одиночество после смерти матери, которая умерла неделю назад, хотя это был очевидный повод. Нет. Она оплакивала даже не одиночество, а неизбежность одиночества, и даже не неизбежность пребывания в одиночестве, а неизбежность трагедии рождения в одиночестве, неизбежность начать жизнь в одиночестве, неизбежность наказания человека одиночеством от рождения. Она оплакивала не гордость или право, не страх или разочарование, не половинчатость свою, да и не себя вовсе она оплакивала, а человека как такового, оплакивала человеческий изначальный грех, оплакивала исход человека из рая, оплакивала отторжение человека Богом. Она не могла успокоиться, но не от жалости к себе, ей было жалко человечество и человека. Она не была сумасшедшей, она плакала от ума, а не от глупости, от слишком большого ума. Потому что предмет ее плача настолько горек и болезнетворен, настолько огорчителен, и в то же время настолько тонок, неосязаем, что он поддается распознаванию лишь изысканному уму и крепкой душе, и такому человеку должно постоянно пребывать в состоянии легкой глупости, словно легком умственном и чувственном опьянении, чтобы не умереть от горя, от осознания трагедии личной и всего человечества, от осознания разорванности своего бытия, своего одиночества, в лучшем случае одиночества в рождении и смерти, в худшем случае одиночества навсегда.

Вот она и плакала. Ей не хотелось отказываться от внезапного озарения и поумнения, а потому она не могла перестать плакать.

Если бы мне удалось ее уговорить прекратить плач, значит, мне удалось бы уговорить ее поглупеть. Что делать?

Но я не мог заставить человека поглупеть даже по причине самосохранения, ибо я не мог этого сделать и по отношению к себе.

И тогда я решил ее разозлить. Позволив по отношению к ней намеренную грубость. Я очень хотел ее остановить. Мне было ее жалко. До слез жалко.

Мне понятна причина твоего плача, сказал я ей, известен повод, но расскажи подробнее о маме и о том, как она умирала.

И она остановилась. Я увидел пламя раздражения в ее глазах, мгновенно высохших. И только сейчас я ее разглядел подробно. Лицо необычайной красоты, небольшая головка, непроницаемые маслянистые черные глаза, окруженные бело-лиловыми белками, нос невероятной формы туфелькой, с необычно мягким переходом в капризную верхнюю губу и широкий рот, твердые скулы и прямой стремительный подбородок.

«Ты хочешь знать? Зачем? А, знаю, ты меня жалеешь, я тебе сразу же понравилась, ты хочешь мне помочь. Вижу – да. Пожалуйста. Первые седые волосы – вот, смотри, в этом самом месте, – седые волосы у меня появились на маминых похоронах, которым предшествовал год честного и откровения умирания, год подготовки к смерти. Её – не моей».

Часть II. Нина

Теперь, по прошествии двадцати четырех лет, у дочери Нины нос туфелькой, а мать Нина в канареечном пальто. Пожалуй, и все, чем были заметны эти двое на фоне других сотен, тысяч и миллионов смертников, на протяжении уже более двух столетий, ежедневно прибывающих к небольшому и неуютному, внешне заброшенному и даже неприкаянному вокзалу города Висбадена. Немецкого города Висбадена, в который приезжают умирать все эти богатые, невероятно богатые, взбалмошные идиоты, идиотки, уничиженные эстеты.

Потому что немецкий Висбаден в последние два столетия превратился в столицу изысканной смерти/в европейскую столицу смерти, став престижным старческим пансионом и курортом. В основном, благодаря усилиям княжеской наследной семьи Гессенов/ Hessen, из рода которых как раз последняя русская царица Александра Федоровна (после августа 2000 года святая православная мученица Александра, погибшая мученической смертью в подвале дома купца Ипатьева в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 г., хотя, конечно, вряд-ли об этом помнят в Висбадене и в немецкой земле Гессен).

Туфелька и канарейка сошли с поезда и направились к подземному переходу, посредством которого только и можно проникнуть в Висбаден.

Мать и дочь никто/ничто не встречал/о (собственно, их никто и не провожал в месте отъезда, потому что они остались одни на всем белом свете). Им и не нужно было встречи ни с кем. Потому что они желали обратного. Они хотели остаться совершенно одни, в совершенном одиночестве, чтобы подготовиться к смерти, чтобы умереть спокойно и достойно, без суеты и маеты. Потому что они приехали умирать. Точнее так. Мать умирать, а дочь сопровождать мать в последний путь. Это будет новая семейная традиция нашего рода – умирать в Висбадене, в который перед смертью положено будет приехать осенью, даже если – это день смерти, а это – первое сентября, или, если даже дата смерти не определена, а осень точно последняя и предсмертная.

Поздняя осень билась о сетчатку глаз кипенью желто-красно-коричневого палого листа под ногами и дождем, не то чтобы надоедливый, но мокрым, а потому скользким на вид и противным на взгляд. Осенние листья покрывали весь этот город. Все видимое пространство. Этот город не был заброшенным. Да и вообще-то – это не город в обычном понимании этого слова. Это – иной мир, недоступный и незнакомый абсолютному большинству людей, живущих на земле. Хотя попасть в него легко и просто. Есть лишь одно условие. Войти в город можно лишь посредством подземного перехода.

Путь очевиден. Путь под землю открыт для всех, это – подземный переход, через который надо непременно пройти, чтобы выйти уже в этом неожиданном/странном/нелепом/невероятном/ненужном/Висбадене, городе, среди огромных каштанов, под золотую лепнину Kurhaus'a, к пруду с утками и джаз-банду у пруда, к миловидным и таким убогодочным наизнанку kurhaus'ским старушкам, сделавших все, чтобы их мужья до срока ушли в мир иной. И войти в этот мир сложных интерпретаций и сиюминутных воззрений.

Туда ведет подземная дорога, подземный переход, сразу же от вокзала, вниз, ступеньками, усыпанными искореженными/исковерканными осенними листьями, мимо изрисованных подземных стен, сквозь вонючий воздух, затхлый подземный воздух.

Но куда идти? Во все стороны выходы – или это входы? Или все же выходы? Вперед. Ибо все одно, позади вход, а не выход, который может стать выходом лишь в том случае, если я поверну назад. Ну, довольно. Еще на ступеньку ниже, и уже не хочется отступать. Навстречу не по погоде одетая девица в кепке набекрень и с разверстым ртом, с ножом в правой лопатке, вот она упала и умерла у самых ног; мама кричит, хотя эта девица не дочь и не она, – ведь они обе еще живы! Это – не их смерть. Занавес. Отступаем в сторону, успокаиваем маму, идем

дальше, ниже и ниже, глубже и глубже. Как же разболелась голова. Какой-то скрежет. Последний раз. Еще раз, и все, только еще один раз. Они дойдут. Они приехали умирать. Точнее, мама приехала умирать.

Что-то прошептала дочь и умерла преждевременно, кокетливо взмахнув хвостом у самого мамино носа, и распростерла крылья свои белые-белые, огромные-огромные, и запела свою нежную и странную песню. И воцарился в покой в сердцах дочери-матери.

И небо раскрылось, и огонь пожрал этот день, и это время, и этот город, и эту голову, в которой сложился этот город в виде огромного и нелепого последнего пристанища на забытой земле.

И пробудилась мать, и распростерла широко-широко канареечные крылья над прошлым, и укрыла дочь от надвигающегося града прошлых событий, и воскресила дочь, и, совершая последнее свое дело на земле, защитила ее перед наступающей смертью-разрушительницей. Устояв еще на некоторое время перед снисхождением своего тела в пропасть тления.

«Пробудись, моя тифелька! Это всего лишь замешательство, этот город – это одно огромное замешательство, ценой в двести лет и несколько сотен тысяч, миллионов, добровольно умерщвленных благополучных было человек. Висбаден – фабрика смерти. В Висбаден едут умирать добровольно со всей Германии. И далее. Это – фабрика грез, в которой умирать приятно, но и почти недоступно для абсолютного большинства. Очень дорогая смерть здесь. Смерть теперь на земле за деньги, и часто и во многих местах за значительные деньги. Но здесь самая дорогая смерть в Германии. Бесплатно в Германии умирали только в Бухенвальде, больше ста лет назад. Но привилегия бесплатной смерти в Германии закончилась. Но это ничего и не меняет. Потому что и тогда, и по сию пору, как кишацице в мертвом, гниющем теле черви, извиваются в висбаденском воздухе мерзкие духи смерти. Их здесь всегда столь много, что видение это для вновь приезжего кажется обманом зрения, временным дефектом зрения. Но духи извиваются слева и справа, всюду, куда проникает взгляд, – их нескончаемо много, невероятно, немислимо много. И в то же время картина так привычна для местного обитателя, что воображение мгновенно засыпает, едва встрепенувшись. Духи наполняют все окружающее пространство, и комнату, в которой поселят нас с тобой, твою маму до ее умирания, и тебя, мою дочь, до твоего отъезда домой в Санкт-Петербург. И мы двое уже так соблазнительно глупы, так незримы, что мы как бы уже и не существуем к началу представления. Нет нас. Вовсе. Навсегда. Бесповоротно».

Что-то промолвила мать, придерживая падающую от усталости дочь. Дочь совсем очнулась, из глаз ее полились оранжевые слезы, она всхрипнула, как кобыла под жеребцом, двинула сердцем вверх, и вкось застучало сердце, и душа ее ожила, и ожила от слов и от слов.

Слова из последнего разговора матери с дочерью продолжают жить, и будто крайние черные птицы парят незримые слова в воздухе, опахалами крыльев навеивая сон, в комнате, состоящей из стен, оклеенных желтыми обоями в зеленый цветочек. С потолка свешивается на цепях железный крест, ржавый и грязный; крест почти втыкается в пол; крест – сердцевина представленного пространства. Слева от креста, слева и по отношению к входной двери, горит костер на зримом полу. А доски пола даже не тлеют, а костер горит. У костра сидят двое – мать и дочь. Они греют руки. За окном заря. За окном Висбаден и смерть, в гости к которой пришла дочь, и уже навсегда к которой пришла мать. Голос матери утробен и прост.

«Совсем холодно».

Дочь медлит с ответом.

«И одиноко».

Продолжает уже с некоторым напряжением мать.

Наконец дочь раскрывает рот, но не произносит ни звука. Слова ее вновь произносит мать.

«Хочется почесать лоб».

«Почеши». – Не выдерживает дочь.

«Чеши».

«Вчера я родила, а сегодня съела ребенка. Такой мне приснился сон». – Дочь окончательно вступает в слышимую часть разговора.

«Почему?»

«Была голодна».

«Почему?»

«У меня болезненный аппетит».

«Да. *Болезненный аппетит. У тебя. Почему здесь так холодно?! Ведь вчера, когда мы приехали, здесь было так тепло. А сегодня так холодно. Почему так холодно. Руки мерзнут. Костер не греет*».

«Холодно оттого, что кругом духи. Разве ты не чувствуешь, как пахнет соблазном, пахнет злом, пахнет смертью и ложью».

«Но почему не греет костер? Нет, ты мне скажи, как ты могла родить? Ведь для того, чтобы родить, надо быть с большим животом. А у тебя живота не было ни вчера, ни даже позавчера, – даже, если предположить, что ты вчера родила. Это – плохая шутка».

«Да это и не шутка, это – бред горячечный. Мы же спим. Ведь не может наяву в комнате гореть костер. Нет. Конечно, костер может гореть. Но не может костер гореть так, чтобы при этом не горели доски пола. Доски пола должны хотя бы тлеть. А раз доски пола не тлеют, и нет даже малейшего дымка, значит, костра нет. Нет, конечно, доски пола не горят, в том случае, если пол во сне. Но ведь не может так быть, чтобы костер был наяву, а пол, на котором горит костер, во сне. Значит, все это – сон. И ты – сон, и я – сон, и комната – сон, и костер – сон, и слова мои – сон».

«Да, это – сон».

«Да. Сон. Что же происходит наяву?»

«Смерть наяву».

«Ты наяву хочешь понять смерть? Зачем! Смерть затем и существует, чтобы было нечто, что нельзя понять никогда, ни при каких обстоятельствах, никак. Разве не так? Разве я не права? Скажи, а?»

«Не знаю. У меня болят глаза. Вглядываться вдаль устала я. Там вдали начинается новый день. И ты скоро уедешь. В этом будущем дне уже кончился наш разговор, и костер погас, и сон завершился. Зачем мы живем? Почему мы живем? Мы ничего не понимаем. Ничего не знаем. Ничего. Знаешь, а ведь мне вовсе не хочется прощаться с тобой. Мне без тебя будет скучно. Я без тебя буду долго умирать. Год».

«Ты же просила этот год. Ты же хотела этот год. Чего же еще».

«Ничего, конечно. Все правильно. Но грустно. Так грустно. Без оснований. И все».

«Ты скажешь, как это, что ты чувствуешь, когда тебе бывает без оснований грустно? Или я?»

«Говори».

«Собственно, я уже все сказала. Добавить нечего?»

«Нечего. Разве что промолчать. Вот я и молчу».

Костер догорал. Угли фосфоресцировали в неожиданной темноте. Духи сделались невидимыми, но слышными – так они сильнее пугали потенциального зрителя. Духи потрескивали едва-едва – совсем как в миллион раз уменьшенный звук потрескивающих под ногами в хвойном лесу сосновых иголок.

Мать и дочь растворились в темноте, слившись с ночью навсегда, уйдя туда, откуда вышел этот сон. Глупый и смешной, как выброшенная к порогу вырванная с корнем лебеда, – на корнях остатки земли, и пряно пахнут руки, и очень трудно забыть последний день. Тот самый последний день. Тот самый, тот самый, тот самый. И лишь пахнет сном, растворенным во сне.

А наяву светит солнце, зеленеет травка, на гору поднимается фуникулер старый, и город затрапезный открывается вдали. Это – Висбаден. Это – город моей мечты. Точнее, это город мечты и моей смерти, в которой мне все знакомо, все приятно для взора, все радует глаз. И все хочется потрогать, пощупать, узнать, чтобы понять.

Та же комната, но без креста и костра. Вот проявилась одна стена, другая стена комнаты, ручка двери, пол, затем потолок, стол, обивка и прочая белиберда. Вырастает голова, еще одна, рука, другая, нос туфелькой, наконец, канареечное пальто на кровати, тело внутри пальто, глаз, еще один, ухо, другое, третье, волосы, ноздри и прочие части тел. Проявилась и застыла в воздухе строгая бело-красная обивка стен, пестротканые гардины эпохи объединения двух Германий, на столе самовар, который мать попросила поставить. Комната, мать и дочь проявляются, как фотографический снимок в проявителе.

И вот уже изображения ожили, зажили совершенно обособленно от первоначального изображения, совершенно обособленно от ожидания. Туфелька выпячивает губы, точнее, одну нижнюю, и садится в кресло. Канарейка вытирает помаду с губы, тушь с глаз и ложится на кровать. Разговор начинается. Последний разговор. В тумане. Начинает дочь. Конечно, ведь она в бреду. А за окном туман. Или туман сна.

«Нет, меня не заело. Я не хочу вспоминать. Мне достаточно моего прошлого, моего будущего. Моего настоящего мне не достаточно, поэтому я пишу про Висбаден, возвращаясь в мысленный свой Висбаден. И этот крест посреди комнаты – это душа, а костер – ум, горящий всегда, пока не наступит темнота. А темнота не наступит никогда. Поэтому действие продлится бесконечно, пока фигуры не осыпятся от времени, превратившись в труху, или в символ бессмертия, а превратившись в символ, прекратят ход жизни».

Но промолвила канарейка, запахнувши плотнее пальто, и, поджав ноги под исколотую (в течение следующего года) от бессонницы задницу.

«Я тебя всегда ненавидела. Да, да. Ненавидела. Но что мне оставалось». – Кажется, ответила туфелька.

«Ничего, потому что это я тебя ненавидела от рождения. Я не хотела тебя. А ты родилась. Я любила твоего отца, но тебя? Тебя? Нет. Никогда! Да, да, да! Нет. Нет! Я теперь люблю тебя. Люблю! Какое странное слово. Какой нелепый разговор. Я боюсь тебя. Мне страшно перед тобой. Нет. Страшно – это не то слово. Я не понимаю тебя. Господи! Как же скучно мне жить. Зачем все это? К чему? Какая глупость?! Ведь я люблю тебя. Мне не в чем разбираться. Я знаю наверняка: я любила тебя и люблю всегда».

«А я? Сейчас проговорю. Какая тоска. Тоска и глупость. Мама, все годы своей сознательной жизни я искала настоящих чувств твоих. Получается же, что я нашла лишь ненависть к тебе. Это – единственное настоящее чувство, которое я переживаю к этому дню. Нет. Бред. Бред. Бред. Мама, давай поспим. Давай. Ляжем спать. Мирно, тихо. Покой. Бай-бай, мама. Ну, наконец-то. Моя афористичная и несравненная мама решила умереть в одиночестве». – И туфелька рухнула во чрево ночи и тайны.

Совсем не та же комната. И совсем даже и не комната, а храм. И совсем даже не Висбаден, а Санкт-Петербург. Туфелька стоит в правом пределе храма и молится. На ней канареечное пальто. При этом она что-то шепчет, крестится редко, плачет и плачет, не вытирая слез, становится на колени, продолжая плакать и шептать-шептать-шептать (по нарастающей).

«Петербург, летний сон. Нет, я оговорилась, – Л(с большой буквы)етний сад, потому что сейчас осень на дворе. В Летнем саду опали листья, поблекло небо, Нева набрякла, люди съезжились, холодно даже там, где меня нет. Например, в Висбадене, где меня уже нет (или еще, если я поеду умирать в Висбаден, согласно семейной традиции). Но ведь холодно здесь, в Петербурге. Ав Висбадене тепло-ли сейчас/было/будет? Да. Моя мама Нина там умирает. Там. В Германии. В Висбадене. А что ей оставалось делать. Иначе я бы ее убила. Потому что она мне надоела. Потому я ее ненавидела почти всегда, сколько себя помню... Нет. Не так.

Потому что я ее всегда любила, что есть мочи. Всегда. За что? Не знаю. Просто так. За все. Она была неумна, нехороша собой, вздорна, самонадеяна, мелочна, а еще она была всегда пугающее забывчива. Она была так забывчива, что иногда казалось, что она может забыть даже о своей смерти, может пройти мимо смерти, не шелохнувшись ни одной частью своего нематериального существа, данного ей от рождения и по факту супружества, которое было больше чем замужеством, ибо было, в значительной степени, определением и началом ее новой жизни. И ей надо помочь обратиться к смерти, обратить внимание на смерть. Ее желание смерти в одиночестве – было последним маминым поступком, направленным против ее изначального хода жизни. Вся ее жизнь была направлена против естественного порядка вещей. Я ее ненавидела/любила не за то, что она была хуже многих, не за то, что она была подла или несостоятельна, я ненавидела/любила маму за то, что она была лучше абсолютного большинства людей, она была лучше меня, ее дочери; и даже более того, эта ненависть/любовь была своеобразной платой, платой за страх, который я всегда испытывала перед моей несравненной мамой, перед ее невероятной непохожестью, перед ее инакостью по сравнению со всем миром, всем тем миром, что окружал меня и ее. И я согласилась с ее желанием умереть в Германии, где она училась и жила с родителями в девяностых годах прошлого столетия, как раз до знакомства с отцом, до моего рождения, после которого она уехала из Германии. Мама захотела умереть именно в немецком Висбадене, который произвел на нее более четверти века назад невероятное и глубокое впечатление своим внутренним драматизмом, вовсе не свойственным внешним и общепринятым впечатлениям и представлениям о среднем немце/Немце. И я нашла там маме вполне приличный, относительно недорогой, пансион. Мама захотела остаться одна, чтобы перед смертью привести в порядок свои мысли, чувства и свои бумаги, особенно письма, которых у нее накопился небольшой квадратный чемоданчик (при мне этот чемоданчик никогда не открывался – сколько себя помню), обтянутый черной хромовой кожей, с потемневшей от времени медной табличкой, с монограммой V.V., в верхней правой части крышки. Этим она и занялась. Она дорвалась до себя и своего прошлого с неистовой силой, – и было понятно по ее интонации, что прошлое ее уже не отпустит никогда. Мама стремительно направлялась навстречу смерти, навстречу Богу».

И слеза молитвы катится по щеке шепчущей туфельки, ближе к смерти матери, становящейся еще и канарейкой; она стоит на коленях перед мощами Александра Невского в лавре, и рассказывает Богу о своих переживаниях и будущем настроении горя, которое она испытает через год, сразу же после похорон канарейки в Висбадене – немецкой, нет, европейской столице мертвых.

Воскресшая канарейка оплакивает умирающую канарейку сейчас и умершую канарейку потом. Она плачет от боли и от жалости, от страха за ее душу и от восторга, и от гордости в связи с воскресением канарейки необъяснимым образом в туфельке, воссоединении с туфелькой. Но настоящая/первозданная канарейка еще жива. И она занята своим делом.

Письма от мамы будут приходить каждую среду. Так они договорились. Всегда в среду, – в течение почти года, – по утрам, дочь будет находить письма от матери в своем зеленом почтовом ящике. Не знаю, насколько точны мамины описания, но распорядок ее жизни в висбаденской лечебнице будет прост и очевиден, как, собственно, все, что мама делала, как, собственно, и вся ее жизнь.

Дочь до сего момента ничего не знает о мамином распорядке жизни в лечебнице. Мама ничего не писала. Ну, может быть, это объяснялось тем, что мама свой быт не сразу наладила, или она была слишком поглощена своей работой и своим чемоданчиком.

И вот, наконец, мамина приписочка. Первые в первых письмах мама посвятила описанию распорядка своего в Висбадене. Приписки долгие и нудные, которые я не стану здесь дословно приводить. Вкратце это выглядело следующим образом.

Мама поднималась в шесть утра, молилась, принимала душ, гуляла по любимой дорожке Достоевского в Kurpark'e на задах Kurhaus'a, кормила уток, и отправлялась завтракать. Обычный свой набор – кофе, творог, сыр, масло и черный хлеб, немного меда или варенья, сахар для кофе, – она перемальвала, несмотря на завидный возраст, с обычной своей методичностью. В теплую погоду завтракать предпочитала с тыльной стороны Kurhaus'a у пруда с утками, за зеленым круглым дощатым столом, сидя на таком же зеленом стуле, отвалившись к рейчатой спинке. Затем неторопливо выкуривала длинную черную сигарету, вставляя ее в палевый перламутровый мундштучок. Смотрела вокруг себя отсутствующим взглядом, почти ничего не видя вокруг себя, кроме солнца, каштанов на земле, и inferнальных музыкантов, играющих одни и те же мелодии перед однотонно туповатой в своей степенности, и такой высокомерной в своей старческой неторопливости публикой. Потом порывисто вставала, и прямо и твердо шла к машине, которая вместе с водителем ждала ее перед фасадом Kurhaus'a, чтобы отправиться к себе в номер. Иногда перед тем она сидела под огромными пятнистыми каштанами, которые выстроились в шеренгу между центральными фонтанами и колоннадой Kurhaus'a. После завтрака спала ровно час. И затем работала до ужина.

Мама читает-перечитывает письма, многочисленные бумаги, перебирает какие-то безделушки, каждая из которых ложится в свою душевную нишу. Иногда она плачет, иногда смеется, порой молчит, уставившись в пожелтевшую фотографию. Затем вновь что-то рвет или даже жжет в черной фарфоровой тарелке, а пепел спускает в унитаз. Читает, выбирает и спускает. Это все еще будет. И не будет того, чего я не узнаю никогда.

И вот, наконец, мама выбрала. Письмо уже идет. Уже доносится особый, тонкий, почти не различимый скрежет, производимый от редкого соприкосновения пространства письма во время движения в пространстве пути с временем пути.

Наконец, утром следующего дня, в среду, в зеленом почтовом ящике туфелька нашла конверт, в котором она нашла первое старое/прежнее/бывшее письмо от матери, точнее от отца к матери.

«16 июня 1996 г. Любовь моя! Хочешь увидеть – как я умираю?! Посмотри мне в глаза – там бездна.

Только на мгновение я вернулся в настоящее, выпрямив спину, когда самолет резко перед самым взлетом рванулся по полосе.

Мы в воздухе – каждый раз это чудо, которого ждешь и чаешь, может быть ради этого одного чуда и летим в настоящее, как в лабиринт с чудесами, который заканчивается грязным коридором к туалету, в котором нет воды. Дождавшись полетного завтрака, я попросил водки и вновь, заедая и запивая мысли, взгромоздился на телегу, которую тащат по этапу времени битиоги прошлого. Бедные конвоиры, им голодно и скудно, холодно и противно, страшно, иногда конвоируемые сбегают, или их убивают, впрочем, иногда над конвоируемыми и поиздеваться можно, а иногда и пережить вместе с ними приключение. Я вновь отправляюсь в этот город. И вновь брежу твоим городом. И вновь брежу тобой. Вот мы и расстались, ты совсем уехала из страны. Я еще ничего не понял. Я никогда не рассказывал тебе о том, что я делал в ночь нашего знакомства в декабре 1994 года.

Я брел по декабрьским питерским улицам и повторял вслух эту фразу, много раз и давно, не особенно понимая, зачем, куда и почему, не замечая, что снежинки тыкались в глаза слепыми котятками. Первый снег. Какое странное пограничное состояние – скорее ближе к смерти, чем к жизни.

Это тяжелый был месяц. Я зашел в ночной ресторан на Невском. Музыка орала благими негритянскими голосами, на танцевальной площадке сосались и лапали друг друга за задницы парочки. Подойдя к стойке, я заказал Chivas и уселся поудобнее на колченогий стульчак. Что происходит? Я, скорее, ближе к смерти, чем к жизни. Я хочу воевать. Для мужчины нет

более сильного и более важного дела, чем война. Ничто не может сравниться с остротой и решительностью, безусловностью и правдой, которые вызывает в душе солдата битва. Хотя умирать не хочется никогда. Но смерть в бою – лучшая доля мужчины. Хочу воевать. Только на войне мужчина может окончательно проверить себя, свою стойкость, понять свою цель и назначение. Только война раскрывает мужские сердца. Но я более всего боюсь, что война в Чечне показала энергетическую импотенцию и старение русской нации. Но ведь живут же евреи тысячелетия! Или же чеченская война показала новое энергетическое возбуждение русской нации?!

Лезет в башку всякое говно. Хочу развлечься. Кем бы. Только сейчас я разглядел, куда попал, ночной дорогой ресторан. Ночной круг людей. Совсем нет интересных лиц, муляжи. Впрочем, впрочем.

В углу двое за столиком в полумраке. Круг света над столом на потолке напоминает женскую задницу. Посидев, и выпив по бокалу чего-то неразличимого на цвет, парочка углу-билась в свой старый, как мир, и такой же банальный разговор.

Может быть новое приключение, а может быть новая судьба. А может быть – пишик. Каждый надеется на новую судьбу, каждое следующее мгновение жизни.

Он и она, мужчина и женщина в ночном дорогом ресторане. Зеленые стены, зеленый свет, зеленые бархатные диваны, с зелеными разводьями шелковое платье, зеленый пиджак – на ней, серый пиджак и противная морда на нем. Он – сатана. Она – ангел, но сломленный и измученный компромиссами. Последний ее срамный поступок, последнее насилие над собой – этот очередной сатана, который заставил ее совершить нечто, что довершило было деградацию ее души. Они вместе совершили грешное. Сатана – воплощение греха, а она уже не может жить без сатаны и его прислужников, хотя она была когда-то давно, когда только родилась, добром. Но затем продалась за удовольствия и проиграла окончательно свою ежедневную борьбу с сатаной. Очередному сатане она – уже побежденная, как и десятки предыдущих – вовсе не нужна. Но от нее исходит еще энергия добра, и она еще может быть сломлена столько раз и так долго, пока не умрет.

Как бы подслушать их разговор. Официант! (Мать, твою...) Помоги мне пересесть поближе к той парочке, мне кажется, там тише.

Напрасно я залез к тебе под юбку. Но и ты напрасно мне это позволила. Таким образом мы вдвоем выказали плохой вкус, таким образом наказали себя за суету и отсутствие стиля в мозговой работе и во время общения двух взволнованных сердец. Чем же кончится наш роман? Неизвестно. Допустим, ведут следствие, ищут убийцу, но затем по прошествии продолжительного времени следствие закрывают, потому что убийцу не нашли. Но закрытие следствия вовсе не означает автоматического раскрытия убийства. И нет ответа на поставленный вопрос. Так и в нашем случае. Я – убийца, и я – остаюсь на свободе, как я поступлю, никто не знает. И никто не знает, когда и как убийца встретится с убиенным на небесах. А может быть убиенный уже простил убийцу, и эта встреча никогда не произойдет. Потому что еще ничего не известно об окончании этого романа, да и ты – изменчива, как сама жизнь. Что-то магнетическое меня притягивает к тебе. Я никак не могу от тебя освободиться, меня не покидает ощущение эксперимента, который ты устроила надо мной.

Он замолчал, она опустила глаза и долго смотрела в пол, иногда поднимала взгляд, смотрела виновато перед собой, озиралась и крутила головой, будто искала спасения, затем вновь слабо улыбалась в ответ на очередную запальчивую тираду сатаны в очках в красной оправе.

Господи! За каждый словом этого мерзавца целый мир. За каждым словом весь мир. Но вот, кажется, заговорила она.

Зачем я так держусь за прошлое? Что мне в нем? Ведь я убедилась – прошлое изменило мне, мыслимое мне прошлое давно забыло меня. И никогда не держало меня в себе, никогда

меня не уважало, или не понимая, остерегалось, отторгало. Я думаю, что из всех людей моего прошлого я оказалась самой талантливой, самой цельной. Эти все люди – сиюминутны. Я же почти вечна. Так вышло. И все же горько. Моя последняя надежда долгие годы – прошлое, которое, я надеялась, будет и является моей поддержкой. Я спасалась от одиночества моими надеждами на прошлое, на людей из прошлого. Мои надежды рухнули. Моя последняя утопия разрушилась. Я – есть совершенно одинокий человек. У меня больше нет в будущем прошлого. Но самое печальное, что у меня нет прошлого в настоящем. По этой причине печаль на сердце.

Последние несколько слов она почти прокричала, кажется, она даже перекричала музыку. Но никто не оглянулся.

Затем они встали, она схватила его за руку, будто выхватила из мерзости и пакости его сатанинских устремлений, зная наверняка, что ничего его уже не спасет, потому что он ничего не хочет, только бы захватить очередную душу, ее душу. Она плясала беззастенчиво, будто бы освобождаясь от груза страха, боли, ужаса, стыда. Она плясала неистово. Она прижималась к нему лбом, твердым и устремленным, она обнимала его руками, тонкими и стремительными. Узкой кости плечи, руки и таз, будто опомнившись от нервной спячки, пришли в неистовое и вместе томное движение. Дыхание перешло в рык и слюни потекли во рту, наполняя глотку вкусом свинцовой пыли, от которой першит в горле и кровавит белки.

О чем она сейчас думает? Как мне подойти к ней, как познакомиться, как избавиться от этого монстра, который страшен не только изнутри, но и снаружи. Им изменил вкус. Как это горько – лицезреть чужие бездарность и безвкусицу, суету и страх перед будущим, которое они пытаются убить настоящим. Ничего не изменилось. Сатана все также жив. И все так же жива и печальна в своей неистовой пошлости Сонечка Мармеладова. И новый Достоевский пишет свой роман в том же ресторане, на той же улице, в том же доме, и так же болит его многострадающее сердце, и все так же смеется его многовидящий ум, и воспаряет многознающая душа над каменным городом и тяжелой монотонной рекой, которая, словно жидкая, необозримая к началу и концу туча, грохнулась оземь и течет куда-то на запад.

Удобно устроившись в кресле, приятно все же, бизнес-класс, оглядевшись на всякий случай в поисках возможного предмета возможного приключения, я погрузился куда-то там в свои мысли, а точнее в прошлое, которое только кажется нам зримым, но по отношению к будущему – не более чем утопия времени, которое в роли конвоира иногда пытается тебя этапировать в прошлое, вызвав из будущего, уговаривая согласиться с минувшей и распавшейся на незримые составляющие реальностью.

Уже при первой встрече, которая состоялась в ту же ночь, помнишь, когда сатана проводил тебя домой, ты, не успев раздеться, вновь отворила дверь на звонок, думая, что это он, но за дверью оказался я, а потом мы проговорили до утра, так вот уже при первой встрече я почувствовал какой-то странный запах, исходящий от тебя. Резкий и одновременно притягательный и настораживающий, но сгущенный и редкий. Что это? Духи или не стирание белье? А может быть гниль, которая исходит от какой-нибудь гниющей части тела? Уже позже я выяснил источник запаха – прамежность, это запах твоего желания. Но самое сильное впечатление – твой бугристый лоб, выступающий в верхней части головы и огромные внимательные глаза – наследие двухсотлетней жизни в городе. Городская сентиментальная барышня – называла ты себя. Была еще одна странность, чтобы колготки не падали, ты их крепила поясом. И была большая любительница дорогой обуви. Все твои прежние друзья – были старше многократно. Подарков ты от них не принимала, разве что самые дорогие.

Все это я узнал позже, а тогда мы расстались, чтобы встретиться, – вспомни, как это произошло уже в Москве, через пару недель.

Над городом встала круглая луна, озаряя дома прозрачным, нежным светом. Деревья, избавившись от людского присутствия, заговорили между собой. Перевалило далеко за

полночь. В Москву вошел короткий, ночной покой. Для полноты ночи не хватало только питерских разведенных мостов и черной воды Невы, задумчивых и твердых колонн Казанского собора, Адмиралтейского четкого шпилья и уродливого лица Петра Великого, напряженно сидящего на странно живом каменном коне. Москва-река омывала уставшие за день московские сердце и мозг. Кремль излучал гипнотическое усилие власти, флаги и звезды наполняли небо тревогой, терзая тело и душу. Брусчатая площадь холодила память и возбуждала надежду. Московская ночь крепла.

Я совсем не удивился, когда нашел дверь открытой. Уже месяц в моей квартире располагалась община наркоманов, я их кормил, мирил, убирал за ними и наблюдал, наблюдал, наблюдал. Я многое понял в механизмах наркотического воздействия на человека, но до конца не знал, зачем мне это нужно, и, кажется, только сегодня ночью, подходя к дому, я понял зачем все это устроил, ради чего я с ними.

Отворив дверь, в полумраке коридора едва не упал, споткнувшись о тело, лежащее странно изогнувшись. Это была девушка, кажется, в сознании, она редко вздрагивала. Я не сразу понял, что, разбросанное по черным вьющимся волосам тяжелое вещество, это – кровь. Я попытался поднять девушку, но сильный шум и два злых напряженных крика из недр квартиры, заставили вбежать в комнату. Над левым ухом что-то просвистело, краем глаза я увидел воткнувшийся в косяк крис. Волнистая изогнутая кромка восточного кинжала излучала бешенство. Два окровавленных человека дрались молча и ожесточенно. Уговаривать не было времени, да и, видимо, смысла, именно уговорами чуть раньше занималась лежащая в коридоре девушка. Вот когда пригодилось унаследованное от деда и прадеда знание правил русского кулачного боя. Через минуту оба идиота лежали в полуобмороке.

Всюду полный беспорядок и разгром. На полу разбросана маковая соломка. На кухонном столе он нашел следы опиумной вытяжки, рядом валялся иприц с обломанной иглой. В углу ворох порванной бумаги, исписанные чернилами страницы. На столе – горка пепла.

Первым делом я перенес девушку на диван. Затем занялся идиотами, которых с трудом опознал. Искаженные лица полны зла и нечеловеческого напряжения. Позвонив их родителям, я назвал адрес соседнего дома и, не представившись, попросил срочно приехать за детьми. Вытащив тела по очереди, я посадил эти обрубки на скамейку возле указанного дома, отступил за угол. Ушел, убедившись, что обморочных идиотов забрали, с причитаниями и руганью.

Дома я занялся незнакомкой, которая все еще находилась в состоянии шока и лежала навзничь с закрытыми глазами. В уголке левого глаза небольшой шрам.

Месяц с наркоманами научил особенно не церемониться и обходиться с ними без условностей. Я раздел девушку, отнес в ванную комнату. Она молчала и покорно делала все, что я говорил и куда направлял. Глаза открыла, лишь почувствовав воду, вздрогнула всем телом, но не закричала, а попыталась что-то спросить. Избитое тело томило. Я смыл кровь, помог встать, обтер, надел на нее свою белую рубашку и отвел в комнату. Она вновь открыла глаза только в тот момент, когда предложил кофе.

Вот только теперь, когда девушка благодарно посмотрела навстречу, я и узнал тебя. За две недели тяжкие бури пропахали душу и лицо, в глазах застыли стрелы боли и безрассудства, кажется, ты вполне равнодушна кивнула, когда я закричал невольно – ты?!

В твоих глазах не было благодарности, собственно, я этого и не ждал, но была волна нечеловеческого интереса, плеснувшего навстречу.

Странно, а ведь имени я твоего не знал. И я даже не понял, а узнала ли ты меня. Ты ни о чем не спрашивала. Я предложил перейти в соседнюю комнату на кровать. Однако, идти самостоятельно ты все еще не могла. Я помог тебе, и только в прозрачном свете луны разглядел призрачные глаза. Ты уснула, точнее забылась, почти сразу. Я затворил балконную дверь и вышел из комнаты.

Привел квартиру в порядок. Повинуясь непонятному желанию, клочки бумаги собрал в пакет, чтобы сохранить. Разгром был устранен быстро и выяснилось, что квартира и вещи особенно не пострадали. Лишь усевшись на кухне при свете ночника за своим традиционным стаканом чая с лимоном, увидел восточный кинжал, застрявший в косяке. Такой точно крик я видел в Восточном музее, но впервые держал в руках, не без труда вытащив из косяка. Кажется, в ту ночь община наркоманов прекратила свое существование в моей квартире, но я также почувствовал, что события сегодняшней ночи в последующем помогут мне ответить на главный вопрос, который я только сегодня впервые произнес.

Забывье было кратким и прозрачным, но очнулся я мгновением раньше, прежде чем пальцы коснулись моего плеча. Холодные пальцы. В полумраке комнаты надо мной возвышалась фигура в белом. За плотно задернутыми шторами чувствовалось солнце и движение дневной жизни. Ничем нельзя было объяснить странную тяжесть, волнами накатывающую в груди. Но голова оставалась ясной, а чувства пронзительными.

Я вскочил и, отвечая на вопрос черноволосой незнакомки, достал свежее полотенце. И еще одно странное ощущение охватило меня в тот же момент: состояние дивной и естественной близости с этим утренним призраком. Из ванной запахло водой. Я подошел к окну и зачем-то еще плотнее запахнул шторы. Следующие несколько секунд я, наверное, не забуду до самой своей физической гибели.

Смерть, тоска, состояние одиночества, безысходность и восторг открытия, нечеловеческая страсть, вера в собственные силы, удовлетворение от прожитой жизни, бессмертие и любовь – все связалось с образом незнакомки. И все пронеслось передо мной в реальных картинах реальных событий, которые ему еще предстояли, о которых он еще не ведал. Мгновенное погружение в себя и в будущее было неизмеримо глубоким, но не обморочным, а озарением, которое переживают один-два раза в жизни. Очнувшись через некоторое время, я увидел себя распростертым на полу, увидел себя сверху и немного в стороне, и вновь впал в беспамятство. И погрузился в прошлую жизнь девушки.

Хрупкое создание, любящее всех и страдающее вместе со всеми, отрицающее всякие попытки собственности или же насилия над собой. Находясь в состоянии потери чувства земного притяжения, тяжести собственного тела и реальности предметов, я не терял ясности рассудка. Все еще оставаясь на полу, все еще не управляя собственным телом, я напряженно думал, но уже не в будущем, а в настоящем времени, о девушке. Я отпустил воображение, и ошалелось хлынула в мозг: жрица любви, гетера, кокотка, сука, чудовище, богиня, небесное создание – все относилось к незнакомке. А ведь я даже не рассмотрел как следует ее лица. Да, она ли это, та ли, что неистово плясала в ночном клубе на Невском. Неважно! Каким-то потусторонним инстинктом я осознал главный дар этой девушки – талант любить, талант быть любимой, талант отдаваться и талант быть взятой.

Вновь на мгновение я вернулся в настоящее, спрямив спину, когда самолет рванулся по полосе. В порядке, мы на земле.

А ведь мы с тобой по сию пору не знаем, что же там произошло. Как ты очутилась в моей квартире. Что с тобой произошло. Помнишь, твое письмо, после реального, совсем уже не мистического, возвращения в Петербург».

«Потрясение. Титан. Гром небесный. Холод и кровь. Огонь и горе. Счастье и жажда. Все сразу, и все вдруг. Первое же старое (более чем полувекковой давности) письмо стали для меня откровением, открытием, подарком, новостью, восторгом и сладостью встречи.

Старое письмо свидетельствовало о начале самого светлого, самого яркого, самого драматичного и напряженного периода маминой жизни, – надо сказать, во всем остальном, довольно ровной и логически выстроенной, – о начале их отношений с отцом.

Я знала о существовании этих старых писем, но я не знала, что в них мне откроется новый мир, мир предшествующий моему, мир, из которого я вышла, мир, который меня напоил и

выкормил силой своего воображения и крепостью духа. И вот, наконец, первая весточка из того мира, который начался за пару лет до моего рождения. Это – первое из писем отца к маме. А для меня – это откровение нового рода. Потому что, на самом-то деле, это ведь ко мне, ко мне все эти письма от моего отца. По его книгам я знаю (я думала, что я знаю!) о его страстной и бурной, и невероятно созидательной натуре, но первое же его письмо к маме превратило меня в водопад слез, в вулкан грез и в листопад чувств. Я же ничего не знала. Никогда мне мама не говорила этого, не рассказывала. Мама мне никогда и ничего не рассказывала. Она меня лишь пугала прошлым нашей семьи. Но я не думала, насколько же мама ничего не преувеличивала. Скорее, напротив».

И первая (первая в висбаденском ряду) мамина приписка (приписки мама любила, приписки были маминой слабостью в жизни, особенно в семейной жизни, потому что мама никому не доверяла).

«Я сходил в знаменитые висбаденские бани – Kaiser-Friedrich-Bad (лучшие бани Европы). Немецкие народные бани пережили столетия. Я думаю, что католический запрет на совместное мытье немецких мужчин и немецких женщин был одной из причин зарождения в Германии лютеранства в 16 веке, одной из самых основательных причин германской независимости и укрепления государства, – чтобы противостоять всем сторонним попыткам покунуться на немецкий обычай. Очень демократичный обычай. Но – варварский. Ходят немцы, трясут членами разных размеров, – почти как в питерской Кунсткамере, – ходят немки и трясут грудями разных объемов; есть те и другие очень даже ничего. И, конечно, оскорбительно выглядит среди них голая сдувшаяся немецкая старуха с обвисшим навсегда животом и плоской грудью, и линялой и морщенной кожей. Впрочем, это я и про себя могу сказать, – русскую старую дряблую жопу, много лет не целованную. А когда-то я была чудо как хороша. Видимо, коли твой отец в меня влюбился. Видимо, ведь я его так долго искала».

«16 июня 1996 г. Родной мой! А как я очутилась там в коридоре? Я до сих пор этого не знаю. Я только помню, что этому предшествовало.

Я, конечно, дура.

Сижу одна в этой комнате, жру сыр с хлебом. Когда я последний раз показала ему, что он сказал очередную глупость, а он прервался на полуслове, сладкая истома подкатила к сердцу. Какая чушь. И вместо того, чтобы протянуть ему свой взгляд, я повернулась к нему задницей и пошла навстречу этому уроду, который когда-то пытался за мной ухаживать, полагая, что, если он дает мне работу, то я ему должна давать. Свинья. Лысая, самовлюбленная, с маленькой головкой в неизменной шляпе, и, выпирающим животиком, свинья. Боже, какие же они все свиньи: наглые, кривые спины, пошлые усы, обвисшие животы, волосатые руки, тухлявые лица, тусклые глаза. Я позволяла им обнимать меня, позволяла трахать вдоль и поперек!

Противно! Лучшие сдохнуть. Встать, одеться, выйти на улицу и сдохнуть там. Не забыть бы выключить газ. Ключи, где эти сраные ключи. Кто придумал замки и двери!? Конечно, мужики-уроды придумали все это говно, которое добавляет в нашу жизнь суету и скуку.

Холодно! Ветер! Освежает. Нужно мне купить туфли. Эти надоели. А еще я хочу танцевать. Сейчас пойду на кладбище и, чтобы никто не видел, зайду в самую глушь и потанцую сама с собой. Зачем я вышла? Здесь так гнусно и сыро. Пойду к реке. А еще я хочу поехать в лес, в деревню, чтобы была бабушка, печка, кошка и солнце по утрам, такое чистое и детское, как это бывает во сне, который я вижу уже несколько лет подряд. В этом сне бабушка жива. И еще дед. Только один мужчина в моей жизни по настоящему был ласков со мной. Мой милый, большой и старый дед. Я его так любила. А он любил меня. Когда он меня обнимал, я чувствовала, что мы с ним родные, самые родные на свете.

Я устала. Неужели забыла сигареты? Лужа. Смотреть надо, чуело. Ну, вот, придется возвращаться, ноги сразу же промокли. Да, и дождь пошел. И эти уроды на меня засматриваются. Подождите, я вам еще покажу, что такое женищина.

Я хочу есть. А что же я буду есть? Я съем все, что у меня есть. Еще я хочу выпить. Опять этот замок не открывается. Боже, какие уроды придумали эти замки! Темно уже. И пусто. И есть совсем не хочется. Поговорить бы с кем-нибудь. И почему я к нему вчера повернулась задом. Если не дурак, поймет, что он мне интересен. А, все равно. Хоть бы скорее ночь прошла. Утром надо встать пораньше и гимнастикой позаниматься. Живот у меня хорош. Ноги – просто блеск. Грудь, конечно, не так, чтобы очень, но имеет определенную привлекательность. Да, я нравлюсь. Я знаю это. Интересно, как он меня впервые обнимет. Не дай бог сзади. Тогда придется расстаться. Не люблю этих убудочных объятий сзади. Это как слюнявые губы. Одинаково противно. Спать хочется. Пока, детка. Завтра опять гимнастика, холодная вода, не забыть бы первую фразу, с которой я хочу начать. Пока, детка. Наверное, он меня назовет. А, наплевать.

Как же не хочется вставать. Бр-р-р. Опять вставать, одеваться, полоскаться. Нет у меня никакого настроения. Холодно. Довольно ныть.

Сегодня мне должен позвонить этот мальчик, который объявился по телефону через несколько дней после моего опубликованного интервью с милицейским генералом и предложил рассказать настоящую правду о русских наркоманах, потому что генерал со слюнявыми губами все наврал. Интересно, кто этот мальчик? Наверное, наркоман. А голосок такой вежливый. Но, не знаю, приглашу я его для начала в редакцию. Никак не могу проснуться. Он будет звонить в редакцию в 2 часа дня. Время еще есть, успеваю.

На улице опять снег с дождем. Что же надеть? Что-нибудь построжее. Но сначала попрыгать и подрыгаться под эту надоевшую музыку. Мерзкий мафиози – Синатра. Старая жопа. Впрочем, впрочем. Идиотка, забыла про кофе. Нет, определенно сегодня будет удачный день. Только бы не разболелась голова. Это бывает всегда так странно. Стоит мне встретиться с человеком, который говорит или делает то, что требует от него невероятных усилий, как у меня начинает болеть голова. Странно, у меня сегодня похрустывают пальцы и какой-то странный пронзительный взгляд, который словно пронизывает меня самое. Чудовищное ощущение расплаты.

О чем это я? Не понимаю. Только сила креста, только сила границы сна позволит мне очнуться. Стоп. Это не мои мысли. Кто-то вторгся в мои мысли. Кто? Как?

Ой, я чуть не проехала красный свет. Этот кретин загнал редакцию в тьму таракань. Убудок. Довольно про это. Почему-то меня беспокоит встреча с этим мальчиком. Чего-то я боюсь. Куда меня заведет эта встреча.

Что с моими глазами было утром? Потусторонний свет. Так было, когда родился мой ребенок, так же было, когда он умирал. А после его смерти я не заглядывала в свои глаза лет пять. Стоп. Точно. До сегодняшнего дня я не смотрела себе в глаза, я боялась своих глаз. Почему?

Так, кажется, успела. Ага, телефон. Что? Да! Это – я. Странно, дрожь внутри. Да, да, приходите. Вы знаете, где мы находимся. Верно. Я вам закажу пропуск. Как вы выглядите? Ах, да, простите. До встречи. Чем бы мне пока заняться.

Господи! Какое вокруг убожество! Сколько же я здесь лет. Как мне все опостылело. А вот и шаги. Это – он. А ведь он не представлялся. Вероятно, у него пронзительные голубые глаза и русые волосы. И он очень молод. Нет, ему столько же, сколько мне двадцать лет тому назад.

Да. Здравствуйте! Да, вы не представлялись. Вы и не удивлены? Зачем вы закрываете дверь!? Что? Ты хочешь, чтобы я разделась?! Пошел ты! Щенок! Что ты делаешь, дерьмо!

Тяжелый туман нахлынул, тело обмякло, радость охватила сердце, которое затем сжалось и словно растворилось в потоке сильного и необоримого движения, увлекшего меня, или то, что от меня осталось, вперед и вглубь. И то, что осталось, потеряло чувство пространства, времени, а может быть жизни и смерти.

Кажется, лишь мгновение спустя я очнулась от удара головой о стену. Затем, медленно сползая на пол, я еще успела слегка удивиться. И тут же вновь потеряла сознание, однако, на этот раз забытие было иным, это было забытие человека, которого крепко стукнули.

А потом уже ты меня вытаскил. Я едва не застонала от злости, которая пересилила боль, ты был похож на этого ублюдка из редакции. Но потом забылась от боли, а уже вновь очнувшись, поняла, что ты – это ты, после ночного ресторана.

Я никогда не узнаю, как из Петербурга в мгновение ока я оказалась в московской квартире, избитая и окровавленная. Именно тогда я окончательно согласилась с родителями уехать за границу. А пока вернулась в Петербург, точнее, ты меня привез, потому что я нещадно боялась. В памяти лишь твоя последняя фраза перед самым прощанием: новая жизнь, в которую ты попала, трагичнее и жертвеннее, но сильнее и страстнее».

«И это все о маме?! Милая моя. Кто же ты? Откуда ты? Откуда мы?!»

Ответ последует потом. Пока лишь мамина свежая приписочка.

«Тяжело умирать. И это мне было понятно всегда, сколько я думаю о своей смерти. А о своей смерти я думаю лет пятьдесят, собственно, со дня крещения, с момента обращения в православную веру. Но что, собственно особенно тяжело, так это то, что только сейчас начинаю, если и не понимать, но по меньшей мере, начинаю слышать изначальный трепет слов этих, осязать их сокровенный смысл. Нет, все равно не знаю, не понимаю смысл этих слов. Пустое. Тяжело. Страшно перед Богом. Страшно за прожитую жизнь. Действительно, страшен суд».

«17 июня 1996 г. Родная моя! Наш роман, долгое время был совершенно платонический, совершенно не современный. В то же время, это – настоящий роман между мужчиной и женщиной, с настоящими громкими чувствами, ночными разговорами, тонкой злостью, смешной игрой в плоть и ненатуральным, а потому оборванным кокетством. Я мечтаю о тебе.

Прошлое меняется не только в нашей голове, в наших представлениях, но в наших нынешних делах. Прошлое меняется само по себе, независимо от нашего присутствия в нем на мыслительном или чувственном уровне. В прошлом присутствует душа, для которой время не существует, для души – прошлое-настоящее-будущее – это все единый процесс, который никогда не прекращается. То есть настоящие дела, меняющие образ человека, делают это не за счет общественного мнения (прощания, восхваления и т. д.), но по причине изменения самого прошлого за счет настоящих дел, которые – есть единый процесс, в котором пребывает единомоментно душа. Для души не существует времени. Поэтому не существует раз и навсегда завоеванных результатов, нельзя платить за сегодняшние дела вчерашней монетой. Не означает ли все это, что в случае материализации вчерашнего дня, в этом вчерашнем дне не будет некоторых реалий, которые были, когда вчерашний день был сегодняшним.

Я вновь в городе, в котором ты жила более двухсот лет. Я в растерянности перед этим временем, скрывающимся под твоим именем. А сколько в тебе задумчивой и гремящей страсти, которая только одна способна вызвать во мне страх по иной жизни, мнительно легкой и страдальчески желаемой?!

Помнишь письмо, которое ты написала мне прошлой осенью еще из Петербурга, я его почти наизусть знаю.

„Возлюбленный мой! Непривычно снова слышать откуда-то издалека твой голос, непривычно просыпаться по утрам и не видеть тебя рядом. Все еще так близко, так живо и осязаемо: вкус последней малины, „вкус осени“ и запах дыма от нашего костра на берегу, и тепло

камня, который „согрел мне руки и душу“. Твои мягкие губы, прикосновение к колючей щеке, движения твоих рук – их ласки наполняют меня ощущением полета какого-то неземного, причудливая смесь наших с тобой многочисленных и таких разных запахов – все это со мной и всегда будет со мной... На следующее утро после расставания я проснулась совершенно без сил. Да, ты прав: это все-таки утомительно, хотя здесь, наверное, сказалось не только это. Знаешь, я просто упивалась тобой в ту ночь, каждая частичка моего тела стремилась к тебе и любила тебя. Но, главное, я вдруг вспомнила, что не рассказала тебе о самом тяжелом воспоминании, которое раньше, до нашей встречи не давало мне покоя, постоянно, наверное, лет пять, всплывало в памяти. За эти два года я ни разу не вспомнила об этом, и той ночью, когда мы разговаривали обо всем, я совершенно искренне забыла этот эпизод из моей жизни. Когда-нибудь обязательно расскажу тебе его, но не хочу в письме.

С завтрашнего дня начну, наконец, серьезно учиться. Я решила обязательно сделать какой-нибудь небольшой художественный перевод со шведского или финского. Даже начала уже, и сразу же столкнулась со многими проблемами. Главная проблема состоит в том, что, если быть верной автору, то русский текст получается каким-то нескладным. Но, если делать вольный перевод, не потеряется ли „самобытность“ произведения и авторской манеры. Буду думать об этом, пробовать, может быть, возьму другой текст. Потом обязательно пришлю тебе.

Любимый мой, сколько еще у нас впереди, и прекрасного, и мучительного. Но я чувствую сейчас какую-то новую силу в себе. Хочу всегда быть честной с тобой. Как много вопросов, на которые не могу пока найти ответа. Как много сомнений, только не в наших чувствах друг к другу. Я так люблю тебя. И дай нам Бог, чтобы сбылось то, чего мы хотим, все самое заветное. Пока, родной. Целую тебя“.

Моя девочка! Вот я здесь. Тебя нет. Может быть где-нибудь я обнаружу твой образ, легкое дуновение впечатлений, оставленных на этих улицах, в этих квартирах, в аллеях Летнего сада, в ночных ресторанах. Наши письма помогут мне отыскать знаки этих следов, я хочу вновь прожить эти впечатления.

Необычно знать, что тебя нет рядом, и еще более необычно знать, что ты не только рядом, но ты живешь во мне; я не просто думаю о тебе, я живу вместе с тобой, ты – какая-то важная часть меня, составляешь что-то единое со мной. Об этом можно было предполагать, но знать наверное, как я это знаю сейчас, нельзя было прежде, пока ты не уехала.

Вот вновь это ощущение. От твоего не присутствия рядом – заломило в скулах, и слезы подступают. Даже не слезы – рыдания.

Я тебя люблю. Особенность моей натуры в том, что я всегда жил, готовясь к худшему, все свои планы строил на том основании, что исход событий может быть самым невыигрышным. Такое состояние души, наверное, называют скептическим, а такой подход скептицизмом. То же было и с тобой, я всегда был готов к самому противоположному для себя. Но теперь я этого не боюсь, – хотя и не хочу одновременно, – теперь я хочу с твоей помощью стать много сильнее и много способнее к жизни, собственно, стать более жизнестойким, нежели прежде. Все минувшие годы мы занимались совершенствованием тебя, и достигли мы многого, ты стала очевидно сильнее, ярче, жизнелюбивее, самобытнее, просто красивее, динамичнее, определеннее. Теперь давай займемся мною. Это требуется для того, чтобы задать нам с тобой новый уровень отношений в новых условиях жизнедеятельности, то есть я должен выйти на тот уровень свободы действий, который ты сейчас имеешь. Я должен иметь возможность к той же свободе передвижений, к той же перспективе, что сейчас потенциально для тебя открылись. А для этого мне нужно стать гораздо динамичнее, умнее, изощреннее, естественнее, сильнее, я должен приобрести новые знания, чтобы открыть новые для себя возможности.

Вот формула нашего нового этапа – новые возможности; мы можем открыть и помогать друг другу открывать новые возможности для нашего внутреннего и внешнего развития».

«А вот и вступает моя свежая мамочка; ее свеженькие слова, после четвертьвековой разлуки с ее временем».

«Сегодня во время обеда у пруда на заднем дворе главного павильона Kurhaus'a (тот самый, в котором фантастической роскоши танцзал, сохраненная комната, в которой играл Достоевский, и, собственно, казино) играл джаз-банд. Ну и что. Все равно образина дьявола выглядывает здесь отовсюду. Три королевские лилии – знак, символ Висбадена. Три лилии – французская королевская отметина проститутки. Сквозь эту невообразимую роскошь висбаденскую дьявола выглядывал еще Достоевский, и сражался здесь с ним, и победил, – проигравшись в пух и прах, и заработав очки дополнительные в сражении с чертом телесным и метафизическим здесь в Висбадене, – продолжив в России, и, навсегда победив черта одной лишь фразой, одной лишь мыслью, одним лишь пророчеством – „Без Бога все можно“. „Три лилии на могиле моей без креста...“. – Как я люблю Бодлера. Бодлер – это Достоевский в стихах. Здесь мы очень сходились с твоим отцом. Точнее, это он меня познакомил с „Цветами зла“. Прощай моя милая, как же я тебя...».

Дальше строчка залита чем-то, и получилось грушевидное чернильное пятно. Слеза.
«Мама. Мама. Мама».

«17 июня 1996 г. Я получила твое письмо. Даже и радостью это невозможно назвать. Это счастливая потребность – общаться с тобой. Уже почти неделя, как я в Германии. Но эти дни были очень разные. Я еще не привыкла к тому, что ты так далеко от меня, что я не могу увидеть тебя и даже пока поговорить обо всем по телефону. Но, наверное, и в письмах есть своя прелесть: их можно перечитать. Знаешь, здесь я еще сильнее почувствовала, как ты дорог мне.

Лишь я услышала твой голос, и мне стало теплее на душе, ты прав, расстояния ничего не значат, главное – наши чувства. Я люблю тебя, милый, и я стану сильнее, обещаю тебе.

Я еще не осознаю свое новое состояние. Три дня мы пробыли в Кельне, где нас встретили мамина подруга и ее подруга-немка (я уже рассказывала тебе о них – думаю, они лесбиянки). Они показали нам Кельн, пока очень бегло, но так, как могут это сделать люди, любящие свой город, знающие особые уголки, мелочи и истории, которые недоступны туристам. Это, конечно, не очень большой город, но довольно симпатичный (по крайней мере, его старая часть), небольшие 3-4-х этажные дома, вплотную примыкающие друг к другу, непохожие один на другой. Узенькие улицы, покрытые брусчаткой, множество цветов, магазинчиков, пивных. Кельн был чуть ли не наполовину разрушен во время войны, и некоторые дома до сих пор не восстановлены. Очень странно выглядят полуразрушенные, как после бомбежки стены, которые вдруг могут встретиться даже в центре. Особенно меня поразила закрытая ставнями и задвинутая на массу засовов синагога. Туда и сейчас (на всякий случай) пускают только после того, как поговорят с тобой через окошко. Здесь очень странный климат: все время меняется погода, то солнце, то дождь, все время ветер (особенно на набережной Рейна и около Кельнского собора). Собор (его называют Дом), оказывается, самый большой из средневековых сооружений Европы. Его гигантские, почерневшие от времени каменные своды, даже подавляют своим величием, я почувствовала себя совсем маленькой и беззащитной.

В Кельне есть и свое наречие – kölsch. Действительно, официанты в маленькой пивной, где варят лучшее кельнское пиво (kölsch), говорили так, что я не поняла ни слова. В этой „интеллигентской“ пивной, куда нас привели наши дамы, можно заказать полметра сосисок на двоих или метр на четверых. Было много и других забавных мелочей, о которых я расскажу тебе потом или покажу их сама. Мне кажется, мы будем гулять с тобой по этим улицам, я

просто вижу это. Вчера я поймала себя на мысли, что тоже смотрю на эти места твоими глазами. Я чувствую, что здесь можно многому научиться, хотя это будет очень трудно. Скоро меня определяют на языковые курсы, и придется учить немецкий по восемь часов в день 5 раз в неделю, плюс что-то делать дома. С языком у меня странные отношения: я, конечно, почти ни слова не понимаю по радио и ТВ, но в разговорах с людьми понимаю очень много, правда, самой говорить пока не получается.

В конце недели мы оказались совсем в другой Германии. Это сельская местность, вокруг маленькие деревеньки и бескрайние поля (желтая рожь и зеленая пшеница), где-то вдалеке лес. Я уже немного освоилась здесь: ухаживаю на полдня гулять (иногда с собакой – ей тут просто раздолье). Мы идем через поля, загоны с лошадьми, часть пути – по обочине дороги, потом сворачиваем куда-нибудь. Получается огромный круг, каждый раз стараюсь идти другим путем. За всю дорогу иногда не встречаю ни души. Вчера я нашла два стога сена, где можно полежать, погреться на солнышке, подумать, помечтать. У меня перед глазами только ты, все время вспоминаю наши встречи. Мечтаю обнять тебя. Прости, я, наверное, зря пишу это.

Ну вот. Что еще рассказать тебе? Сами условия жизни здесь, конечно, ужасные. Здесь эмигранты с разных концов бывшего Союза: поволжские немцы, евреи из Казахстана, Баку, многих других городов. Большинство из них плохо знает язык, а во всех учреждениях, в разговорах с чиновниками, в магазинах, на почте работают, естественно, немцы, которые знают пару слов по-русски. Вообще здесь все очень плохо организовано: нужно оформить разные бумаги, обойти кучу кабинетов (работают они с 07:00 до 11:00), всем назначают одно время и скапливается множество людей. У нас небольшая комнатка (метров 10): стол, шкаф, холодильник, одна общая кровать и одна двухъярусная. Я сплю „на втором этаже“, надо мной – черный, отсыревающий угол. Здесь как в общаге – одна кухня и душ на этаже (горячая вода идет только первые 5 минут, и в первый раз я продрогла до нитки, смывая шампунь холодной водой). Женщины должны по очереди мыть полы, а мужчины – убирать территорию. Этот лагерь, наверное, уже давно здесь: в магазинах и на улицах есть надписи на русском, есть русские книги, кассеты, продукты. Иногда сидишь и не понимаешь, где ты, как в каком-то дешевом пансионате: за окном круглые сутки кричат дети или молодежь играет на гитаре, слышна какая-нибудь наша попсовая музыка. Людям абсолютно нечего делать: они слоняются целыми днями по улицам, сидят на лавочках. Сначала у меня было такое чувство дискомфорта, что я даже не могла никуда выйти, хотелось только спать и не видеть этих людей и всего этого.

Но сейчас я как-то освоилась, надо просто придумывать себе занятия. Проблема в том, что очень трудно уединиться, особенно вечерами, когда хочется почитать или записать что-нибудь. Пришлось купить свечу (ничего лучше не нашлось). Теперь я при свече пишу дневник. У меня получается что-то вроде длинного письма тебе. Знаешь, это непросто. Иногда хочется просто смотреть в одну точку и трудно заставить себя писать. Но, ты прав, это помогает и, наверное, будет важным и интересным повествованием потом.

Мне все это не нравится. Я вновь и вновь перебираю все мамины доводы. Главный прост – мы едем на родину предков по дедушке, маминому папе. Бабушка мамы (по папе) была совершенно романтической особой и, в возрасте еще почти девочки, вышла замуж за русского коммуниста, родившегося и жившего во Франции, и вслед за ним в 1928 году уехала жить в СССР. Уехала из Кельна. Помнишь, я показывала тебе фотографию прабабушки, бабушка была не хуже. Но теперь нас здесь никто не ждет, от наших родов остались только мы трое, три мешано-коммунистических осколка.

Пишу эти строки после разговора с тобой. Я согласна с тобой во всем. Надо подняться на какую-то новую ступень отношений, стать сильнее, богаче внутренне. Нужно победить эту боль, я буду очень стараться, и ты тоже держись. Я верю в тебя, в нас. Я тоже еще яснее осознала сейчас, что ты значишь для меня. Несколько дней назад я вдруг почувствовала

даже некоторое облегчение. Знаешь, ожидание этой разлуки совершенно измучило меня, мне даже снился самолет и, казалось, когда он взлетит, сердце просто не выдержит. А сейчас это уже в настоящем, этого не изменить, а в будущем – только наши чувства, наши встречи.

Напиши поподробнее о своих планах, чем ты собираешься заняться. Продвигается ли что-нибудь в издательстве с твоей книгой?

Я буду часто писать тебе. А скоро, наверное, будет какой-нибудь телефон, по которому ты смог бы звонить мне.

Очень ждду твоего письма».

«Теперь-то я знаю, что этот кусок про романтическую бабушку был ложью. Я пока еще не знаю (или никогда не буду знать), что было правдой, надеюсь к концу маминого повествования мы доберемся и до правды наших родов. Но никакой романтической любви к коммунисту точно не было. Нет, Кельн был и коммунисты были, но не тогда и не так, и совсем не в связи с названными мамой в письме к папе обстоятельствами. А что же было? А важно ли это?»

Почему-то это письмо мама ничем не сопроводила. Или уже сил не осталось. Или проплакала над ним, а после просто заклеила его в конверт, и отправила дочери, и забыла про свою приписочку. Дочь так привыкла к ее приписочкам. Они ей нравятся.

«18 июня 1996 г. Соскучился без тебя. И вот сел после разговора с тобой писать тебе письмо. Пишешь, вроде бы как и вместе с тобой, девочка моя.

Еще один день, и еще одна ночь без тебя. Ты так далеко, что я уже почти не чувствую твоего дыхания, которое мне так часто снилось по ночам, пока мы не встретились однажды, и я узнал тебя по дыханию из сна.

Я тебя прошу, очень осторожно о любой физиологии – связано ли это с опасностью пополнить или просто с намеком на описание какой-нибудь части твоего тела. Я не в состоянии спокойно все это выносить, я сразу же начинаю воображать твои бедра, твой зад, который поправился именно в тех обольстительных местах, где еще не зад, но уже не бедра. Я же представляю свои руки, я начинаю чувствовать на расстоянии, я, странно, начинаю обижаться на то, что эти немислимо теплые и острые места стали менее совершенны. Впрочем, от этой обиды ощущение твоей плоти и близости к ней становится еще более ясным и твердым.

Я начинаю привыкать к боли в сердце, боль на разрыв, когда, кажется, огромный нарыв вырос на сердце и не дает вздохнуть. Но, впрочем, пускай, видимо, немного рано сожгли лягушачью кожу. А, может быть, просто мы еще не доросли друг до друга.

Плюнь на свои болезненные ощущения, разолись и пошли всю эту болезненную канитель куда подальше, так будет интереснее жить дальше.

Мне очень часто кажется, что я неистовый трус. Я боюсь всего, что может помешать, нарушить мой покой, или вторгнуться в мою личную жизнь. А раз так, может быть это не трусость, а брезгливость, осторожность, или еще нечто в этом роде. Бог знает, но я всегда страдал, когда мы оставались в той сумасшедшей квартире с фантомами на стенах, или у тебя дома, я всегда мучился одним ощущением, что нам могут помешать, что кто-то может нарушить наше единство, надругаться над нашим одиночеством.

Наверное, это излишнее воображение.

Я знаю про себя, что я по настоящему здоров (духовно и душевно, даже физически) только, когда пишу, много и последовательно; во все остальное время я не здоров, чем дольше не пишу, тем сильнее болен; в длительные периоды творческого бесплодия я становлюсь жертвой собственного воображения, которое, не имея искусственного выхода, начинает довоображать мою собственную жизнь.

Очень смешно. Сейчас смотрю „9 с половиной недель“, так вот у главной героини пылающие щеки – перед тем, как она впервые отдалась своему новому творцу в виде пошлого и без-

вкусного, хотя и мужественного, партнера. Кстати, на редкость безвкусное и поверхностное киноповествование; почему вот это могло и может нравиться – эти двое совершенно друг друга не любили. А почему у тебя пылающие щеки? Да еще и пылающие глаза. О-ля-ля-ля. Это целая история, после которой остается лишь задать тихий и, как всегда, неправильный, вопрос – могу ли я в тебя кончать.

Начал письмо под утро, поздно ночью, продолжаю днем, ближе к вечеру.

Опять нет от тебя письма. Знаешь, это такая хорошая хитрость, которая позволяет обмануть время, то есть пишешь-пишешь каждый день, а через некоторое время начинаешь получать каждый день, и тогда нет ни расстояния, ни времени.

Утром в машине закурил сигарету, и вдруг увидел твой живот, маленький такой, такой мой любимый и ласковый, особенно иногда сзади; например, когда я тебя познал на чердаке дома на бульваре, среди дерьма, запаха и отбросов и с видом на вечеряющую Москву, вот тогда твой живот был нежный и какой-то живой, со своей собственной жизнью, льнущий к ласкам и переполненный зовущей к небу чувственностью...

А теперь твой звонок. Если так дело дальше пойдет, я буду вынужден заняться она-низмом. Нет, нельзя не говорить о сексе.

Это дурацкие стандарты мешают нормально относиться к сексу по телефону. Это также своеобразный и чрезвычайно сублимированный секс. Наверное, можно даже кончить по телефону. Разговор на полмира о любви, о том, какой и куда орган входит, что делают руки, что чувствует язык или глотка, когда глотает, как себя ведет язык, когда проникает между волосков в подышающую от ожидания промежность. Истошный внутренний вопль, затем движение уже собственной руки, и не одно, а много движений, и опять вопль, но уже вопль удовольствия разбивает стиснутые зубы и навсегда пробивает очередные стереотипы.

Так что никакой сублимации.

В Москве невероятная для июля жара. Такая же была ровно шестьдесят лет назад, в 1936, а на следующий год в Москве и стране начался 1937 год.

Я разделся, и все равно очень жарко, встал, походил и вновь сел, не люблю быть голым в доме, люблю быть одетым рядом с тобой голой, или голым в воде, или в бане.

Часто ловлю себя на том, что думаю и вижу твоими глазами, мы так срослись душами, что уже не разделить иногда. И я уже не боюсь потерять тебя, потому что гораздо страшнее потерять себя. Я мучаюсь не от любви к тебе, а от недостатка любви к себе – без моей собственнической любви тебя не станет завтра, а затем я рухну на землю с изнищавшей и кинутой в одиночестве душой, в которой жизни останется на грош. Хотя, наверное, я и тогда поднимусь.

Не грусти».

И вот на сей раз мамочка доченьку не забыла.

«Висбаден – это не только чрезвычайно доходное местечко, в котором люди не просто тратят деньги, но делают это степенно, со вкусом и удовлетворение, и с благодарностью за представленные им эти возможности расходования их денег. Но самая важная часть образа, собственно города, – концептуальная его часть, концептуальный образ, мировоззренческая, философская основа. Висбаден – это немецкая попытка земными средствами реконструировать рай, каков он есть в лютеранском сознании среднего немца, послужившего своей жизнью, многотрудной и суетной, полной волнений и забот, родине и немецкому народу, а потому и заслужившего к старости покой. А рай в немецком уме – это и есть прежде всего покой. И вот этот покой – и есть Висбаден, в котором все приспособлено для извлечения из остатков жизни удовольствий, приятных и комфортабельных ощущений, основательности и абсолютной стабильности, неизменности, чего так не хватает в земной жизни немцу, и что немец так старательно насаждает на протяжении последних двух столетий. С середины 19 сто-

летия в Висбаден едут на поправку здоровья и отдых от забот и волнений самые богатые люди Европы и мира. Все их капризы, причудливые пожелания, все здесь находит свое удовлетворение и воплощение. Тупая надменность, серьезность, основательность, обеспеченность и роскошь в представлении среднего немца-лютеранина отличает небесный рай от суетной, убогой, полной лишений и волнений, мучительной часто, земной жизни. Роскошь в немецком раю-Висбадене во всем потрясающая, почти невероятная. И, собственно, никчemuшная. Непонятно, чем роскошь лучше не роскоши? Если не умнее, то и не лучше, а лишь дороже; впрочем, чаще и умнее. Но чаще и ужаснее. Над дверью в главное висбаденское казино надпись – „Das Kurhaus“, что почему-то напомнило мне другую немецкую надпись над другой немецкой дверью, в Бухенвальд, – „Jedem das seine“. В тот самый промежуток времени, когда десятки и десятки тысяч узников входили в ажурные металлические ворота Бухенвальда под надписью – „Jedem das seine“, сотни, тысячи и тысячи немцев входили в дверь с надписью – „Das Kurhaus“.

Да, да. Входили. Входят. Будут входить.

«18 июня 1996 г. Знаешь, сегодня я поймала себя на мысли, что я не осознаю того, как ты далеко от меня. Я слышу твой голос, разговаривая с тобой по телефону, думаю о тебе все время, и будто ничего не изменилось, будто мы просто не можем встретиться сейчас. Твои слова, твоя любовь, твои стихи очень помогают мне, придают силы. Мы так долго молчали о своих чувствах друг к другу, и я часто ругала себя за это. Но теперь я понимаю, что именно сейчас пришло время для этих слов, и поэтому они так согревают. Здесь я поняла, как сильно люблю тебя, как мучительно для меня расставание с тобой. Последние пять дней были особенно тяжелыми.

Я была (и сейчас еще остаюсь) в каком-то болезненном состоянии: много сплю и хочу спать, ничего не делаю и устаю, чувствую себя совершенно разбитой и опустошенной. Я ужасно недовольна собой за это, за эту хандру, лень. Я знаю, что потом очень трудно собраться и включиться в напряженную жизнь, которая мне предстоит. Я помню это по Финляндии, но ничего не могу с собой поделать. На меня нападает такая тоска, и все внутри сжимается от боли. У нас было столько прекрасных моментов, я все время, непроизвольно, вспоминаю что-нибудь и мечтаю о тебе. Я не хочу расстраивать тебя и не хочу быть излишне сентиментальной. Я только хочу, чтобы ты знал о моих чувствах, о том, что ты для меня самый любимый, дорогой и желанный.

Я надеюсь, что ты все же получишь мое первое письмо. Я написала в нем о первых днях в Кельне и о том, как мне живется здесь. Не могу сейчас писать еще об этом. Я ко многому привыкла, особенно к бытовым неудобствам, но очень многое раздражает или совсем непонятно.

Милый, я пишу эти строки уже на следующий день. Только что получила твое письмо! Я ждала его именно сегодня. Я так счастлива сейчас, у меня совсем другое настроение, другие мысли, другое самочувствие, даже другие глаза. Я начала читать и поразила, как это близко тому, что я чувствую. Я не могла многому найти слов, как это прекрасно сделал ты. Мы, действительно, выходим на новый уровень отношений, чтобы стать сильнее и богаче внутренне. Я уже предчувствую новые возможности, которые откроются для меня здесь. Главное – суметь ими воспользоваться, научиться как можно большему и передать это тебе. Я часто сомневаюсь в своих силах, но, ты прав, за это время я стала сильнее, увереннее в себе, и я тоже как-то оптимистичнее смотрю на мир.

Родной мой! Прими меня».

«Ой, как неожиданно. Все, что я читаю в этих старых письмах, все неожиданно для меня».

А вот что наново написала мама.

«А над городом на горе стоит русский храм, выстроенный в девятнадцатом столетии на средства тогдашней русской общины после смерти племянницы русской царя Николая I

Елизаветы Романовой, бывшей тогда герцогиней Гессенской, умершей во время родов вместе с ребенком в Висбадене. А поскольку она, несмотря на брак с лютеранином, сохранила православие, ее саркофаг до сих пор стоит в этом русском храме над Висбаденом. Здесь же рядом историческое русское кладбище. Богатых русских до революции 1917 года бывало здесь очень много, впрочем, не только богатых, самый знаменитый здешний обитатель – Федор Достоевский, который любил не только воздух Висбадена, но и более всего казино в Kurhaus'e, а также парки и термальные воды города. Проигрался – искупался, искупался – проигрался. А по большей части русские здесь проигрывались, лечились, а затем и незаметно умирали. Часть умерли уже после бегства из большевистской России, это, кому удалось переправить свои средства за рубеж, и затем мирно дожить здесь свои дни. Русского и сейчас здесь не мало: по сию пору один из залов Kurhaus'a носит имя Достоевского, а русская парная в банях Kaiser-Friedrich-Bad, в ряду с финской, римской и другими парными мира, представленными здесь, – остается на протяжении столетий наиболее популярной парной у местных и заезжих любителей попариться».

Мама – талант. Она поздно осталась в одиночестве. Ей бы еще несколько лет, она бы стала заядлым мемуаристом, или просто сочинителем, или путешественником, например, по маршруту Карамзина, которым так и не проехал мой отец, поскольку очень хотел написать «Новые записки русского путешественника».

«19 июня 1996 г. Сегодня получил письмо от отца. Оказывается, я похож на своего прапрадеда, которого звали Степан, он был такой же, как и я, белокурый, высокий, с голубыми глазами. И умер в сто лет, как библейские герои. Ему всё не до смерти было, много дел было. Стало быть и мне так же жить. Я когда-нибудь расскажу тебе про историю своей семьи.

„Возбуждение достигло небес“ во время разговора с тобой. Кажется, я сформулировал еще один алгоритм движения человека. Умение преодолевать собственные стереотипы и стандарты. Например, вчера еще ты знал, что человек в такой-то ситуации должен так-то и так-то одеваться, говорить, реагировать, думать, отвечать. Стандартное отношение помогает проще и быстрее решать стандартные проблемы, но и в какой-то момент останавливает развитие человека, сужает поле жизни, то есть оставляет меньше возможностей для каких-то ассоциаций, полевых решений, то есть нестандартных решений.

А прежде я предполагал, что главный алгоритм, с помощью коего возможно оценивать свое собственное развитие, это поиск и выбор, при определении пути, самого трудного, самого неясного, то есть, в итоге, самого нестандартного решения, которое потребует наибольших сил.

Кстати, мой прапрадед жил до ста лет, полноценной и полноценной жизнью. Ему повезло, он умер в самом начале Советской власти, почти ее не почувствовал, а его сын, мой прадед, вкусил всей силы большевиков, которых всегда ненавидел, в семье над ними иронизировал, но на людям молчал, хотя и был раскулачен по полной программе.

Обнимаю тебя».

Дочь закрывает глаза, и представляет маму, седую, чуть согнутую, но и очень крепкую, с соломоновым носом – «нос твой – башня Ливанская, обращенная к Дамаску» (Книга Песни песней Соломона 7.5), как она излишне твердым, и решительным шагом, кокетливо поводя сухими, все еще женственными бедрами, проходит под пятнистыми каштанами, оставляется под кроной самого большого, слушая, – и загадывая при этом что-нибудь свое, – как падают колючие круглые маленькие бомбочки, падают и выщелущаются из кожуры, – дождавшись, убегает, как маленькая девочка прочь, смеясь чему-то своему. Или как она поднимается по лестнице, – никогда не любила лифт, – чуть отклонившись назад, а затем будто присосавшись к перилам, втягивает свое тело, уже совсем маленькое в неожиданной невесомости, наверх.

«Моя милая мама, как я тебя переживаю!»

«20 июня 1996 г. *Счастье мое, я читаю тебя и зачитываюсь.*

Вчерашний день стал моим первым счастливым днем в Германии. С утра и до позднего вечера я жила тобой. Сначала воспоминаниями и ожиданием твоего письма, потом – твоим письмом. А затем случилось чудо – наш телефонный разговор. Ты давно научил меня верить в чудеса, и вот произошло еще одно. Я говорила с тобой, и видела, вернее чувствовала, твои руки, твое лицо, губы, всего тебя. Чувствовала так отчетливо, так осязаемо, что у меня все дрожало внутри. И все вдруг изменилось – не только во мне самой, но и вокруг. Изменилась погода – стало теплее и как-то свежее. И все стало каким-то образом само собой удачно складываться. Но, главное, что от моей депрессии не осталось никакого следа, мне стало спокойнее, легче, светлее на душе. Ты словно снял с моих плеч груз тяжести и боли. Это продолжается и сегодня. Я почувствовала себя красивее, сильнее, сексуальнее. Наверное, это было видно и со стороны, я заметила это по взглядам мужчин. Смешно, но именно так я ощущала себя после занятий с тобой любовью.

Ночь была тоже удивительной, первая теплая ночь. Мы гуляли, и я впервые увидела целое море светлячков. Это так красиво: маленькие бледно-зеленые огоньки кружатся в небе, блестят на листьях деревьев.

Наверное, все это и вправду от любви. И еще, ты знаешь, в тот день, проснувшись, я читала молитву – молитву оптинских старцев, – „Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день. Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня. Какие бы я ни получал известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя. Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами. Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобой. Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом семьи моей, никого не смущая и не огорчая. Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня. Руководи моею волею и научи меня каяться, молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать, благодарить и любить всех“. По-моему, она замечательная.

Я люблю тебя, милый».

И очень неожиданные замечания мамыны.

«Хожу и качаюсь под ветром. Не от голода или истощения. Последние несколько дней я очень расстроена. Четверть века назад я бросила маму и папу в Кельне, и переехала в Санкт-Петербург, к твоему отцу, точнее, к памяти о твоём отце, точнее, в память о твоём отце; точнее, мне нужно было хотя бы дышать воздухом, которым дышал твой отец. Я расстроена не тем, что я это сделала, а тем, как я обошлась с родителями. Они ведь очень страдали. Конечно, я их навещала ежегодно, даже чаще, каждые полгода. Но они угасли быстрее, нежели можно бы предположить. Печально так. Плачу с утра и до вечера третий день подряд, вспоминая родителей. Они здесь в Германии и похоронены. А зачем? Пустая и никчемная – я старуха, глупая и бездарная. Ничего у меня никогда не получалось, и не получается. Что я оставила после себя, чем занималась всю жизнь. Боже, Боже мой! Как же сладко плакать. Я прихожу плакать в русскую церковь, что над городом на горе. И печаль перемеживается с восторгом и радостью от встречи с Богом. И слезы очищения переполняют душу. Странно. Но ведь я не перечитываю письма, которые я посылаю тебе. Я помню их. Я их узнаю по первым же строчкам. По легкому дуновению запаха его души и легкому дрожанию слов».

А вот и появилась еще одна капля грушевидной формы на странице. Мама всегда пишет перьевой ручкой с черными чернилами.

«21 июня 1996 г. *Люби меня. Я подарю тебе новое рождение души, и трепет тебя обнимет со всех сторон. Кант сказал, что нет ничего более таинственного, чем небо надо мной*

и моральный закон во мне. Бедный Кант. В 19 веке, затем в 20 значение морального закона низложили, объяснив, что мораль – это еще одна форма рабства – об этом говорили и Ницше, и Бердяев. Чувство юмора, обычное в 20 веке, показалось бы Канту логической ересью.

Я сейчас в деревне. Ночью вышел из дома в сад. Черное и глубокое, в своей черноте, небо над головой, а еще точнее, ночное небо – оно всюду вокруг тебя, даже может быть так: ты – внутри этого ночного и глубокого в своей черноте, с пронзительными и яркими звездами, ночного неба. Это как ночное море, которое сливается с небом. И нет там ничего таинственного, нет там в вышине бога. Это чудовищная по продолжительности обмана аллегория. Бог в сердце. Бог в нас, а не вне нас. А церковь – это зеркало для души.

Пишу и тут же вспоминаю о существовании людей без бога в сердце. Лишь совсем недавно я очень отчетливо стал понимать, что есть люди, которые живут без бога. Причем, я имею в виду, даже не наличие бога, как какой-то идеи, а нравственную внутреннюю атмосферу, позволяющую сочувствовать и сопереживать, сопонимать и содействовать. Только бог внутри позволяет относиться к другому человеку, как к себе, делает всех равными и значимыми.

Вечером в низинах кудрявится плотный и белый туман. Стожки на поле закрыты белым маревом до половины. И круглая Луна без изъяна. Половецкая Луна. Почти выдуманная картина. Инструментарий фантазера. И Луна здесь вновь пишется с большой буквы – она велика и несоизмеримо царственна. Странным образом – или очень естественным – день в деревне не кончается, или не перестает быть, он лишь освещается солнцем или луной. А может быть здесь совсем ничего не происходит. Здесь в главных ходит природа, а не люди. В деревне люди остаются, либо сами по себе, либо приспосабливаются к природе, приноравливаются. Поэтому здесь нет движения времени, здесь есть внешние светотехнические эффекты, механизм создания которых в руках очень печального существа. Природа исполнена страданий – как и жизнь человеческая, которая списана с природной жизни. Но природа, в отличие от надменного человека, не стремится к страданию. Поэтому то, что мы принимаем в природе за страдание – это вовсе не страдание, не трагедия, а движение видимого.

Днем хожу на реку. Вновь и вновь натываюсь на мужика с косою вместо весла, плывущего от другого берега к этому. Не знает он ничего о том, что он – есть невероятной силы образ, русского и невероятно сильного великого народа, пребывающего в недостижимой для остальной планеты естественности. Такое даже древним мифологистам и новейшим литературным извращенцам не приходило в голову. Латиноамериканские карнавалы в честь смерти, праздник „хэловейн“ в США, различные празднества, долженствующие ублажить смерть – ничто по сравнению с этим образом: живого русского мужика, который переправляется на другой берег Леты, чтобы накосить травы, и дабы не брать лишнего – гребет косою. Невероятный природный ум и сметливость. И невероятное призрение смерти, совершеннейшее, я бы сказал, равнодушие, а еще точнее – естественное отношение к смерти, словно бы к жизни: нет никакой разницы между жизнью и смертью – поэтому можно в одночасье переправиться на тот берег реки Леты, где хорошая трава, накосить там травы и вернуться назад в обычную жизнь: и действительно, если на том берегу растет хорошая трава, то почему бы и не накосить ее. Но поскольку „тот берег“, то есть, иной берег – это есть смерть – то и приходится в „ту жизнь“ брать атрибут „той“ жизни – косу.

Я понял еще одну вещь. Народ (в самом общем смысле этого слова) – это люди, живущие растительной жизнью, то есть люди без идеи. Такие люди способны на мужественные и решительные, жертвенные поступки, но поступки эти не связаны с выполнением какой-то одной, пронзающей жизнь от начала до конца, идеи. А особенность и безумная сила и, собственно, смысл существования этих людей – отсутствие в их земной жизни резкой границы между материальной жизнью и материальной смертью, потому что у них нет никакой духовной жизни, поэтому им нечего терять в смерти, ибо материи все равно в каком состо-

янии находиться, в виде ли кожи дышащей, или кожи не дышащей, поэтому простые люди как незаметно живут, так незаметно и умирают.

Исходя из этого посыла, можно продолжить мою мысль. Лесу и скалам проще, когда земля рождает полных идиотов. Блаженные и юродивые из этого ряда, потому-то они так почитаемы в любой религии. Наличие наибольшего числа естественных (растительных) людей лучшие и для природы, лучшие и для государства, если государство рассматривать уже как параллельную природу, потому как естественность человека она во всем, и в общественных проявлениях – желание, страх, насилие, наказание, агрессия, безнаказанность.

Причем, наличие бога в сердце очень часто свойственно прежде всего человеку из народа, но и народная материальность и такая бытовая душевность – еще не означают наличие у народа духовности и внутренней идейности. Носителями идеологий являются немногие люди, у которых могут быть душевные и материальные недостатки, и они могут быть просто машинами для воспроизводства идеологий. И такие люди, как правило, гораздо менее приспособлены к жизни, нежели, материалисты, но они и более склонны к духовному развитию.

У этих материалистов невероятно некрасивые, мужеподобные женщины. Это – андрогинны, а не женщины. Женщины – как мужчины, волосатые, с грубым или резким голосом, прямолинейными и грубыми чертами лица, угловатой походкой, а главное, с гипертрофированным чувством самодостаточности, не независимости характера или духа, не с чувством собственного достоинства, а, именно, с преобладающим чувством достаточности бытия. Вне ума, красоты, женственности, мягкости и легкости, ласковости и терпимости, независимости и самостоятельности, невероятного и бесстыдного – во время любви – эротизма, вне всех этих необходимых женщине качеств, нутряное чувство достаточности означает только одно – перед нами андрогинны – ни женщины, ни мужчины.

Что это – застывшее прошлое, каким-то невероятным образом восставшее в реальности через тысячелетия, или это странный и необъяснимый, для этих далеких от цивилизации мест, скачок, прорыв в техногенное, наукообразное будущее планетной цивилизации?

Невероятное отставание по времени от цивилизации, это – слепок того времени, когда женщина отличалась от мужчины только способностью к воссозданию себе подобных.

Все еще дикая и все еще очень разнообразная страна Россия. Некоторые ее формы бытия восходят к тем диким временам, когда женщины были первобытны и стары от рождения. В то же время. Ты, будто не из России – ты прожила более двухсот лет в Городе, в Санкт-Петербурге, в этом невероятном горниле идей, чувств, аллюзий и теоретизирования. Твой высокий лоб, нутряная способность ко лжи, как воссозданию новой реальности, нутряной идеализм и способность одномоментно приспособливаться к любым теоретическим фантомам, любым идеологиям, умение адаптироваться в любой, самой идеологизированной среде, сильный эротизм, признак вырождения, очевидно расшатавший основы нравственности, мировоззрения, мироощущения, которое апокалиплично. Дитя каменных дворов с нутряной бледностью.

Странным образом на меня повлиял твой отъезд, что-то такое щелкнуло, и я могу теперь смотреть на Россию более отстраненно, нежели когда бы то ни было, словно бы, я уже сам уехал из страны.

Я даже думаю, что на этом пути я сумею когда-нибудь понять основные отличия России от других стран мира, оправдание и смысл существования России на планете, особенности российской цивилизации. Мне одно очевидно, что российская цивилизация имеет то же право на самобытность, как и западная, и индийская, и китайская, и иные великие цивилизации. Но в чем эта самобытность – мне еще не до конца понятно.

Кстати, именно из Тамбовской губернии – где я в деревне – история про Дубровского, описанная Пушкиным. А недавно мне попала с эротическими рисунками Пушкина, все как у всех – мужские и женские промежуточные во всем своем тщеславии, поэты, ноги,

зад, руки в разных местах и т. д. Собственно, ничего иного нельзя и ожидать, но, очевидно, у этого гениального сластолюбца были нездоровые сексуальные наклонности. Про таких в народе говорят – озабоченный.

Один из самых сильнейших в истории человечества стереотипов – теоретические и языковые запреты на эротику и секс. Я понимаю внутреннее стремление Лимонова – прорвать ханжесство, которым пропитана русская литература, словно бы, все эти великие не искали наслаждения в запретном, не страдали, словно, последние маньяки, все-все это было и у них, но ничего этого нет в русской литературе, полной теоретических и окологрустных настроений, но не чувств. Конечно, хорошо, что русская литература столь сильно образовала нацию, что она сумела настолько идеологизировать русский народ, что он за чистую монету принял идею коммунизма, идея которого со временем пройдя через чувства, стала мыслью. Собственно, в последнем состоянии идея и стала подвергаться сомнению, как и любая другая мысль.

Нет, конечно, были Барков и Алексей Толстой – из наиболее известных эротоманов в русской литературе. Но во всех их эротических текстах и рассказах не достаёт артистизма. Либо общество на протяжении 18–19 веков было настолько идеологизированным, что литература, свободная от идеологии и каких-то задрипанных идеалов, не принималась обществом, точнее, кучкой интеллектуалов, перекормивших страну идеями, романтикой и идеологией, чем и воспользовались полуграмотные, властолюбивые засранцы, типа Ленина, Троцкого и прочей нечисти, которую привели к революции интеллектуалы-теоретики. Все равно – кто. Их тип ясен – политики-космополиты, сумасшедшие лабораторные ученые.

То есть эротизм русской словесности – это русская история без революций. Большие свободы в русской литературе, в русском искусстве – демократичнее народ и общество.

Помнишь, как почти полтора часа ты просидела в темном кинозале на моей руке, которая чуть-ли не по запястье проваливалась в твою промежность. Не было ощущения совершения запретного, а было ощущение разрушения стереотипа. Когда-то давно я впервые встал на голову (есть такое упражнение в йоговской гимнастике), и лишь спустя очень много времени я понял, в чем главный результат такой позы: тело, все органы тела привыкают находиться в одних и тех же местах, в одних и тех же сочетаниях, испытывают одно и то же трение, одно и то же раздражение, что вольно-неволью когда-то превращается в болезни. Когда же ты переворачиваешь тело – внутри тела все привычные взаимосвязи нарушаются: то, что было внизу, оказывается наверху, органы начинают судорожно удерживаться на своих привычных местах, внутренние мышцы начинают сокращаться в тех местах, где прежде не было никакого движения, появляется новая энергия, новая жизнь, новое здоровье.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.